Девять
Глаз Ибиса
Александр
ОЛЬШАНСКИЙ
ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ
Детский детектив

Александр Ольшанский

Верой и Правдой

Серия «Девять глаз Ибиса»

https://litres.ru/73528493
SelfPub; 2026

Аннотация

Эпоха становления Российской державы при Петре I и последующие десятилетия становятся фоном для эпического полотна, воссозданного в этом романе. Невинный подарок — диковинный браслет, переданный молодому офицеру Денису Калмыкову в Англии, — оборачивается большими проблемами, обвинением в убийстве фаворитки Петра I. От гибели в застенке его спасает лишь личная воля государя.

Получив тайное задание, молодой мичман возвращается в Архангельск, где его ждут новые испытания и любовь к поморской девушке. Вместе с ней и её братом он бросает вызов невидимым врагам. Их расследование — это противоборство с с масонами, придворные интриги и тайны Петербурга, Кронштадта, Лондона и Архангельска, ведущие к сердцу заговора.

Большинство героев книги — реальные исторические персонажи.

Роман «Верой и правдой» — это захватывающая история о долге, чести и любви, разворачивающаяся на фоне грандиозных преобразований России, где судьба целой империи может зависеть от мужества всего нескольких человек.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
Глава 1	6
Глава 2	23
Глава 3	37
Глава 4	58
Глава 5	68
Глава 6	83
Глава 7	96
Глава 8	108
Глава 9	119
Глава 10	130
Глава 11	137
Глава 12	150
Конец ознакомительного фрагмента.	154

Верой и Правдой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

У возлюбленной очи озёрные,
ясным днем, что есть мочи, лазурные.
Среди ночи – туманно-костёрные.
И немного шальные, Бог весть…
.
А. Ольшанский. Тайна. Млечный круг,1997

Глава 1

Туман над Невой в тот день рассеялся к полудню, уступив место редкому для конца сентября солнцу, которое светило с бледного, высокого неба, не грея, но играя на золотом шпиле Петропавловской крепости и в бесчисленных лужах многих дорог новой столицы, разбитых частой ездой.

Летний сад, любимое детище государя, встречал гостей неестественной, почти театральной тишиной, нарушаемой лишь шелестом опадающей листвы, далекой дробью барабана с Адмиралтейского луга и приглушенным гомоном, струившимся из-за ограды. Сюда, по личному указу, сошлись на первую в этом сезоне ассамблею все избранные – те, кому дозволено было видеть государя не только на параде или в кабинетах, но и в часы досуга.

Атмосфера в саду, несмотря на позднюю пору, была оживленной. Дорожки усыпали свежим желтым песком, подстриженные липы и клёны стояли в строгих шпалерах, а в крытых аллеях-берсо пылали жаровни, отгоняя сырость и распространяя тонкий аромат жженой можжевеловой щепы. Запахи смешивались: пряный дым, влажная земля, увядающая зелень и тяжелые, чувственные духи – амбра, мускус, жас-

минное масло, – которые источали нарядные дамы, чьи фигуры мелькали среди зелени, подобно экзотическим птицам.

Общество действительно представляло собой пеструю смесь, немыслимую ещё десять лет назад. Здесь, рядом с потомственным боярином в длиннополом, хоть и нового образца, кафтане из венецианского бархата, стоял, раскуривая глиняную трубку, немец-инженер в простом суконном камзоле, залихватски заломленном картузе и грубых сапогах. Молодой щеголь, «петровский птенец» в обтягивающих ноги чулках и узких башмаках с эффектными пряжками оживленно спорил о преимуществах голландского такелажа с загорелым, обветренным капитаном бомбардирской роты. Царь ценил не родословную, а пользу. И в этом был ужас для одних и величайшая милость для других.

Дамы, стараясь превзойти друг друга в следовании парижским модам, всё же не могли скрыть некоторой скованности: корсеты были перетянуты слишком туго, фижмы сидели неловко, а высокие, напудренные парики с шиньонами и локонами выглядели вычурными на фоне незамысловатой северной природы.

В центре всеобщего, хотя и сдержанного внимания, медленно прохаживался сам государь. Петр Алексеевич был, как всегда, в простом темно-зеленом мундире лейб-гвардии

Преображенского полка, без каких-либо орденов, лишь с офицерским серебряным горжетом на груди. Парика он не носил, и его собственные, густые светло-каштановые волосы, коротко остриженные, были слегка взъерошены. Лицо со следами усталости и недавней лихорадки, в этот момент было оживлено интересом. Он что-то объяснял небольшой группе, состоящей из корабельного мастера Федосея Скляева, архитектора Доменико Трезини и своего старого соратника, графа Федора Апраксина, широко размахивая руками, привыкшими держать и топор, перо и штурвал. Его громкий, ироничный голос, пересыпанный голландскими и немецкими словечками, время от времени покрывал общий гул.

Рядом с государем, подобно тени, если тень способна быть ослепительной, двигался Александр Данилович. Светлейший князь Меншиков был облачен в кафтан из золотой парчи, шитый серебряными нитями и усаженный мелкими, но чистейшей воды бриллиантами. Парик его был самым высоким и пышным в саду, напудренным до эталонной белизны. Его лицо, с живыми, быстрыми глазами и хищным, тонким носом, выражало полнейшую, почти собачью преданность, но в каждом жесте, в каждом повороте головы сквозила полная уверенность в своем праве находиться рядом с государем. Он ловил каждое слово Петра, кивал, вставлял вовремя почтительные реплики, а взгляд его постоянно скользил по толпе, оценивая, вычисляя, отмечая.

И взгляд этот, как и взгляд многих присутствующих, время от времени с легкой усмешкой останавливался на одной особе. Она стояла несколько в стороне от основной группы, у мраморной копии античной Венеры, недавно привезенной из Италии. Княжна Мария Дмитриевна Кантемир. Двадцатилетняя дочь молдавского господаря, бежавшего в Россию, сестра юноши Антиоха, уже славившегося своими стихами. Её называли при дворе «заносчивой гречанкой» – и в этом прозвище звучала и насмешка над происхождением, и скрытое уважение к необычной образованности, и тонкий яд зависти. Она не была красавицей в принятом смысле: лицо её было смугловатым, черты – крупными, решительными, не по-девичьи. Но в больших, темных, как спелые маслины, глазах светился редкий для женщин высшего круга ум – острый, насмешливый, начитанный. Она была одета сравнительно скромно, по последней константинопольской моде: платье из тяжелого лилового шелка без обилия кружев, с высоким, закрывающим шею воротником, и легкая, парчовая накидка-ферязь. Её тёмные волосы не были убраны в сложную башню из локонов, а гладко зачесаны назад и собраны на затылке, что лишь подчеркивало благородную линию лба и шеи. Она слушала, как её брат что-то оживленно рассказывал небольшому кружку молодежи, и улыбалась сдержанной, немного отстраненной улыбкой.

Именно в этот момент Меншиков, уловив некоторую паузу в разговоре государя, сделал легкий, почти танцующий шаг вперед и возвысил голос, обращаясь, казалось, ко всем сразу:

– Ах, государь! Совсем запамятовал в суете! Зришь на творения рук твоих, на сей рай земной, и голова идет кругом! Позволь представить взору твоему и всей честной компании диво дивное, одну редкость древнюю!

Петр обернулся, нахмурив густые брови от неожиданности, но в глазах его зажегся знакомый всем огонек любопытства к любой диковинке, технической или природной.

– Что еще там, Алексашка? Опять какую-нибудь двухголовую зверушку из своей мызы привез?

– Куда там, батюшка! – Меншиков рассмеялся подобострастным, заливистым смехом. – Сия вещица посерьезнее будет! Из самой глубины древности! От фараонов, можно сказать!

Театральным, отработанным жестом он извлек из глубокого кармана своего блистательного кафтана небольшой футляр, обитый дорогим бархатом цвета старого вина. Раскрыв его, он поднес к государю. На тёмном фоне лежал браслет.

«Девять глаз Ибиса». Он казался тёмно-зелёным, почти чёрным в тени, но когда луч бледного солнца упал на него, в глубине камней проснулись золотистые, огненные прожилки, и сам металл оправы – не светлое серебро, а какое-то тусклое, матовое, покрытое тончайшей патиной веков – засветился изнутри холодным, мертвенным светом. Работа была удивительно тонкой и странной: замысловатый узор, вплетался в девять овальных гнезд, в которых покоились камни. От него веяло не просто древностью, а чем-то глубоко чуждым, нездешним.

– Что за штуковина? – Петр, забыв на мгновение обо всех, взял браслет в свою большую, покрытую мозолями и шрамами руку. Его пальцы, привыкшие чувствовать вес ядра или резьбу по дереву, оценивающе сжали металл. – Тяжелый. Не наше литье. Чужеземное. Старое, очень старое. Откуда?

– Презент. Подношение тебе, государь! – Меншиков расцвел, видя интерес. – От некоего владетеля из земель африканских, что лежат за морем Средиземным. Через выдающихся аглицких учёных. Мол, наслышаны о величии и учёности, Петра Алексеевича, императора Всероссийского! И преподносят сей древний талисман в знак почтения, в надежде на милость и покровительство твое в будущем. Доставлен с оказией через Архангельск, от тамошнего… мор-

ского чина.

Петр покрутил браслет, поднес близко к глазам, разглядывая работу.

– Любопытно. Форма не нубийская… скорее египетская, … Ибис, говоришь? Птица священная. Но зачем мне сей талисман? У нас своих святынь достаточно. Однако работа достойная. Музеуму в Кунсткамере бы подошла.

– Позволь, батюшка, не в музей! – живо воскликнул Меншиков, ловя момент. – Сия вещь создана украшать, а не пылиться на полке! Осчастливь кого-либо из присутствующих красавиц сим древним сокровищем! Пусть видят иноземные посланцы и свои вельможи, какие дары несут к стопам твоим от самых краев света!

Пётр задумался на мгновение, его взгляд, прямой и тяжелый, скользнул по женским лицам. Многие дамы замерли в надежде, потупив взоры или, наоборот, смело глядя на него. Взгляд его прошел мимо пышных, румяных щеголих, мимо юных девиц, трепещущих от волнения, и остановился на смуглом лице с большими, умными глазами, которые смотрели на него без подобострастия, но с тихим, внутренним светом.

– Кантемировна! Подойди-ка сюда, гречанка наша гордая! – крикнул он, и в его голосе прозвучала не грубость, а некая фамильярная теплота.

Мария Дмитриевна не смутилась, не засуетилась. Она сделала несколько спокойных, плавных шагов, и её темное платье выгодно оттенило бледные, вычурные наряды других дам. Она сделала неглубокий, но изящный реверанс.

– Государь.

– Нравится тебе сия безделушка? – Петр протянул ей браслет.

Она взяла его. Тяжесть металла заставила её руку чуть дрогнуть. Она рассмотрела браслет, и в глазах мелькнуло не восхищение, а интерес ко всему новому и необычному, который так ценил в ней Петр.

– Работа удивительная, Ваше Величество. Чувствуется рука древнего мастера, вдохновленного иной культурой, иными богами. Это не украшение, это… символ. Или инструмент.

– Инструмент? Для чего? – сразу оживился Пётр.

– Не могу знать. Лишь предположение. Возможно, для ритуалов, давно забытых. Камни подобраны не для красоты – они темны, они вбирают свет, а не излучают его. – Она на мгновение прикоснулась подушечкой пальца к гладкой, холодной поверхности одного из «глаз». – Он странный. И прекрасный в своей странности…

– Ну, так носи на здоровье, – Пётр махнул рукой, как бы отгоняя мистические флюиды. – Пусть щеголяет наша ученая гречанка перед всем светом. Да напоминает, что и России есть, что перенять у древних, кроме руин.

Он надел браслет ей на тонкое запястье сам. Застежка щелкнула с тихим, сухим звуком. Металл, холодный как лед, обхватил её кожу. Мария снова присела в реверанс, но чувство легкой, непонятной тревоги не оставляло её. Браслет был не просто тяжел. Он был… неудобен. Чужд.

Весь остаток дня браслет «Девять глаз Ибиса» был в центре внимания. Его рассматривали, его обсуждали. Многие дамы подходили к Марии с лицемерными поздравлениями, но в глазах горела неприкрытая зависть. Этой гордячке, «гречанке» повезло – сам государь публично оказал ей милость. Некоторые суеверные дамы шептались, мол, вещь, наверное, с могилы, что она несет проклятие фараонов, и та-

кие дары не приносят добра. А сам Пётр, вскоре увлеченный спором о новом типе галер, уже забыл о подарке.

Меншиков же, наблюдая за Марией, носившей браслет, потирал руки с довольным видом: его маленький спектакль удался, диковинка отвлекла государя, а подарок достался от царя нейтральной, ни с кем не связанной особе, что снимало с него возможные подозрения в интригах среди знатных русских фамилий.

Мария Кантемир носила браслет всю ассамблею. Сначала холод металла был неприятен, потом тело согрело его, но ощущение странности не проходило. Ей казалось, что тяжесть на запястье тянет её вниз, что тёмные камни следят за ней.

Поздно вечером, вернувшись в скромные покои, которые ей с братом выделили во дворце князя Меншикова, она с облегчением расстегнула хитрую застежку. Браслет со звоном упал на туалетный столик из орехового дерева, рядом с серебряным зеркальцем и шкатулкой для украшений. Она хотела убрать его, но усталость взяла свое. Оставив его лежать на месте, она села за столик и быстрым, уверенным почерком, достойным писца, набросала несколько строк – ответ на письмо отца, который интересовался её жизнью при дворе. Закончив, она сложила листок, но, не найдя под рукой пе-

сочницы, чтобы просушить чернила, на мгновение придавила его тяжелым презентом царя. Потом, позвав горничную и отдав письмо для отправки, на время забыла о браслете.

***

Прошла неделя. Неделя, в течение которой слух о диковинном браслете и милости государя к «гречанке», к этой заносчивой гордячке уже облетел весь Петербург. Мария чувствовала себя неважно: легкое недомогание, головная боль, непривычная слабость. Она списывала это на сырую погоду и напряжение жизни при дворе. Браслет она больше не надевала. Он лежал на том же столике, и служанка, убирающая комнаты, боязливо обходила его стороной, шепча, что вещь «с глазищами» недобро смотрит на неё.

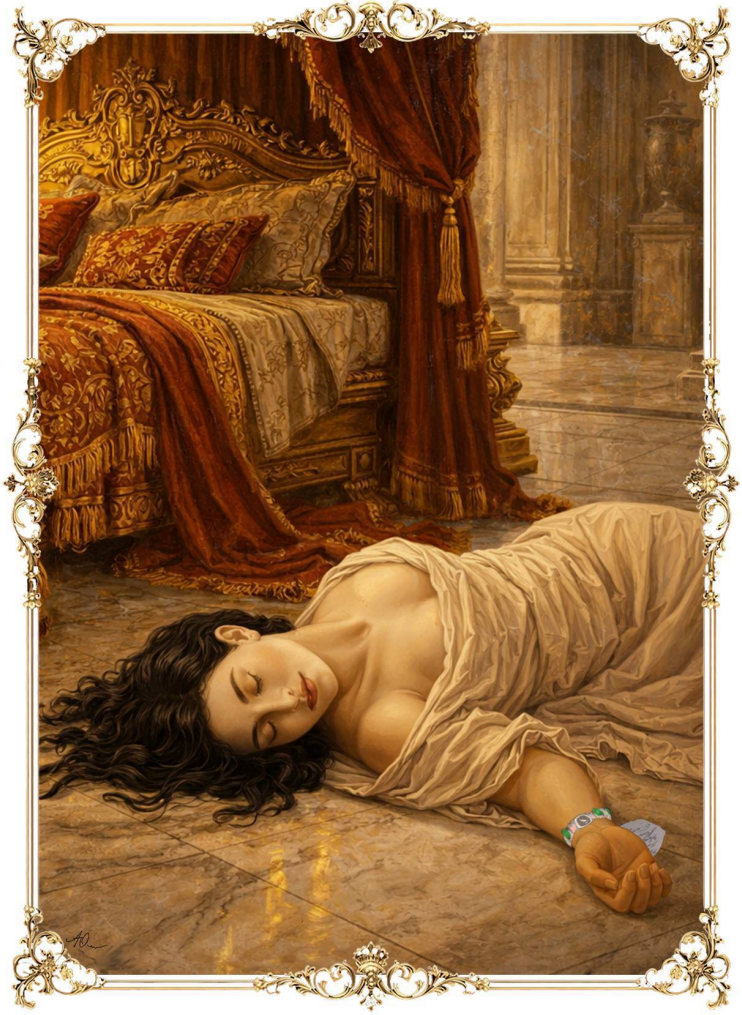
На восьмой день, рано утром, горничная, войдя в опочивальню с кувшином теплой воды для умывания, замерла на пороге. Княжна обычно вставала с первыми лучами, чтобы почитать или заняться переводами. Сейчас она лежала рядом с кроватью неподвижно, лицом к потолку. И эта неподвижность была слишком совершенной, окаменевшей. Подойдя ближе, горничная вскрикнула и выронила кувшин. Фарфор разбился с оглушительным звоном. Осколки разлетелись по полу вдоль лужицы воды, похожей на звезду с девятью лучами.

Лицо Марии Дмитриевны Кантемир было искажено не выражением боли, а гримасой безмолвного, леденящего ужаса. Глаза были широко открытыми и остекленевшими. А её рот полуоткрыт, как будто она пыталась вдохнуть или крикнуть в последний миг. Пальцы одной руки судорожно впились в складки шелкового покрывала, другая рука была безвольно откинута. На её бледном, почти синем запястье, словно приросший к коже, тускло сиял браслет «Девять глаз Ибиса». Зелёные камни казались теперь еще темнее, поглощая утренний свет. А из-под запястья выглядывал уголок бумаги или письма.

В комнате стоял странный, сладковато-горький запах, напоминавший миндаль и испорченные яблоки, – запах, которого здесь раньше не бывало. Горничная, обезумев от страха, выбежала из комнаты с воплями.

В покои, ещё хранившие следы недавней жизни, государь вошел спустя два часа. Он был без мундира, в простой одежде и плаще, накинутом на плечи, лицо его было серо от бессонной ночи, проведенной над чертежами, и внезапного известия о трагедии. Он молча подошел к ложу, долго смотрел на мёртвое лицо молодой женщины, в котором всё еще читался отпечаток ума и силы. В его глазах не было ни горя, ни нежности – лишь холодная, сосредоточенная ярость и

вопрос. Потом его взгляд упал на браслет. Он наклонился и снял его с запястья. Кожа под ним была бледной, с легким, странным красноватым отливом. Из-под руки девушки выпал сложенный листок. Петр поднял его, развернул. Он ожидал увидеть признание, угрозу, любовную записку. Но перед ним были лишь аккуратные строчки – обычное, почти деловое письмо отцу, без единого намека на тайну.



Однако уголок листа, тот, что ранее был придавлен браслетом, был испещрен странными, абсолютно нечитаемыми значками: не буквами, не цифрами, а мелкими геометрическими символами, точками и черточками, расположенными в строгом порядке, в виде квадрата.

Тишина в опочивальне стала густой и давящей. Пётр медленно поднял глаза и уставился на Меншикова, который уже стоял у порога, бледный как полотно, с лицом, на котором застыл неподдельный, животный страх – страх не только за девушку, но и за себя.

– Александр Данилыч, – прозвучал голос государя, тихий, ровный и оттого в тысячу раз страшнее обычного гнева. – Где тот, кто принес сей браслет? Где человек, с чьих рук ты принял эту… штуковину?

Меншиков попытался что-то сказать, но лишь беспомощно пошевелил губами. Пётр не спускал с него ледяного взгляда.

– Я жду ответа, светлейший. Сей негодяй должен быть найден и доставлен. Немедленно!

Глава 2

Ветер, пришедший с просторов Финского залива, гулял по пустынным улицам Кронштадта, свистя в такелаже стоящих на рейде кораблей и швыряя в лицо редким прохожим колючую крупу мартовского снега с дождем. Воздух был плотным, тяжелым от запахов, слагавших симфонию этого места: соленой морской сырости, сладковатого духа пакли и водорослей, едкой смолы от котлов конопатчиков, и острых нот угольного дыма из труб казенных зданий. Город-крепость, созданный волей Петра на отвоёванном у шведов острове, жил единым дыханием с флотом. Его ритм задавали церковные колокола, скрип лебёдок, глухие удары кузнечных молотов из Адмиралтейства и пронзительные свистки боцманов, выводивших команды на утренний развод.

На Графской пристани, у самой воды, под низким, словно свинцовая плита, небом стоял молодой парень, Михайло Ломоносов. Исполинская фигура в грубом, домотканом армяке, подпоясанном простой верёвкой, казалась инородным валуном среди суетливой, целеустремленной жизни порта. Он только что ступил с борта рыбацкой ладьи, доставившей его с материка, и теперь, прижимая к груди узел с пожитками, наблюдал непривычную картину. Его глаза, голубые и

ясные, несмотря на усталость, жадно впитывали всё вокруг: невероятное скопление кораблей, точнее строгий, почти математический порядок. Линейные корабли с высокими, желтыми от свежей смолы бортами и пушечными портами, похожими на строгие ряды слепых глаз; легкие, верткие фрегаты; пахнущие лесом и дегтем галиоты. Матросы в широких холщовых штанах и тесных камзолах, с косичками, убранными под черные шляпы, сновали по вантам, как проворные пауки, травили снасти, мыли палубы песком и бастрогом. От них веяло не крестьянской покорностью, а особой, морской выправкой и удалью.

Михайло вздохнул, и пар густой белой пеленой вырвался из его губ. Путь из холмогорской деревни был долог и труден. Ноги, обутые в поскрипывающие сыромятью сапоги, ныли от усталости; за пазухой лежали завернутые в тряпицу последние медные гроши, а в котомке – самое ценное: «Грамматика» Смотрицкого и «Арифметика» Магницкого.

Путь из Холмогор в Москву, который он задумал как паломничество к знаниям, обернулся неожиданной милостью судьбы уже на третьи сутки. Усталые ноги, стёртые в кровь грубой, негнущейся обувкой, едва волочились по проселочной дороге, когда до его слуха донёсся скрип тележных колёс и хриплые окрики возниц. Он обернулся и увидел долгожданное спасение – растянувшийся на версту рыбный обоз,

гружённый бочками с солёной сёмгой и треской. Могучий, неторопливый, как сама северная природа. Приказчик, ехавший на передней телеге, мужик с обветренным, как морёный дуб, лицом, сперва покосился на гигантского оборванца с котомкой, но, услышав твёрдый, без униженного заискивания, голос и внятное объяснение: «В Москву, к наукам пробираюсь», – лишь хмыкнул. После минутного раздумья он махнул рукой в сторону груды пахучих рогож на одной из повозок.

– Садись, коли не брезгуешь. До Вологды довезём. А там – сам по себе.

Так вместо нескольких недель изнурительной ходьбы его странствие обрело ритм покачивания на колдобинах под мерный скрип телеги, под шепот и храп таких же, как он, простых людей, спавших рядом, уткнувшись в шубы. Дни сливались в дорожную пелену лесов, полей, просыпающихся рек и туманных рассветов. Он почти не тратил сил, сберегая их для будущего, копил впечатления и думал о своём, глядя, как уплывает назад знакомая с детства северная земля. Обоз доставил его до первых мостовых Твери, и оттуда уже другими попутками, водными и сухопутными, добрался он до устья Невы. В Кронштадт же заглянул не случайно: слух о том, что здесь, в сердце нового русского флота, можно найти работу на корабле, идущем к Ладоге, а оттуда – верный путь вверх по Волге, привел его сюда. Потому и стоял он те-

перь на краю пирса, ощущая смутную, копившуюся в дороге тревогу и нетерпение, всматриваясь в колдовское сплетение мачт и снастей.

Мысль о Москве, о Спасских школах, горела в нем неугасимым внутренним огнем, но здесь, на краю империи, среди этого царства воды, дерева и металла, он впервые почувствовал головокружение от масштаба замыслов Петровых. Это был иной мир, дышавший не привычной размеренностью пашен и лесов, а энергией преобразования, дерзкой и страшной.

Чтобы перевести дух и сообразить, куда двигаться дальше, Михайло присел на огромную, обледеневшую чугунную кнехту, у которой, словно покорный конь на коновязи, покачивалась на коротком канате портовая шаланда. Он вытащил из-за пазухи кусок чёрствого хлеба и принялся неспешно его разжёвывать, не отрывая глаз от паруса, который ставили на бригантине напротив. Парусник, ловя редкие порывы ветра, медленно разворачивался к выходу в залив. Его трапезу прервал оклик, резкий, отрывистый, привыкший повелевать.

– Эй, здоровяк! С дороги! Или ты здесь вмерз, как болван?

Ломоносов поднял голову. Перед ним стоял невысокий

и коренастый, крепкий, словно морской узел, морской офицер. На нем был синий кафтан-камзол с медными пуговицами, потертый на локтях, но чистый, красный галстук и просторные кюлоты из грубого сукна. На голове – треуголка без изысков. Лицо – смуглое, скуластое, с упрямым подбородком и проседью в черных, как смоль, волосах, собранных в скромную очередь. Но главное – глаза. Небольшие, тёмные, они смотрели на мир с насмешливой, всепонимающей остротой, в которой читался и житейский опыт, и недюжинный ум. Его взгляд скользнул от стоптанных сапог парня к его лицу, задержался на умных, но усталых глазах, и жесткость в офицерских чертах смягчилась любопытством.

– Виноват, ваша милость, – глухо проговорил Михайло, тяжело поднимаясь. Он выпрямился во весь свой гигантский рост, и теперь офицеру пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом.

– Ничего, ничего, – офицер махнул рукой в простой кожаной перчатке. – Место тут оживленное, каждую минуту груз везут. Не местный будешь? По одежде – помор.

– Так точно, ваша милость. Из-под Архангельска.

– В Кронштадте по делу?

– В Москву путь держу. В науках совершенствоваться, – сказал Ломоносов, и голос его, прежде глухой, зазвучал твер-

же.

Офицер ободряюще хмыкнул.

– В Москву? Далёко. А здесь, брат, тоже науки постигают. Вон видишь здание каменное, с флагом? – Он кивнул в сторону строгого двухэтажного строения с высокими окнами. – Морская академия. Навигации, артиллерии, фортификации обучают. Не хуже московских школ. Может, тут остаться решишь?

Ломоносов покачал головой, и его взгляд стал упрямым.

– Решение моё твердое. В Москву. Ищу, не найдется ль работёнка на попутный корабль до Осташкова, по Волге али по другим рекам.

– По рекам? – Офицер усмехнулся, и у него вокруг глаз собрались лучики морщин. – Да лед-то еще не сошел, голубчик. До полой воды недели две, а то и три ждать. Сухопутно придется, по Государевой дороге. А она нынче – грязь по колено. Жаль, что не к нам. На таких, как ты, силачей, смотреть – залюбуешься. Земля, кажись, должна дрожать. А ты с котомочкой, словно странник.

– Не в силе счастье, а в правде и в разуме, – неожиданно

для себя возразил Михайло, вспомнив строки из какой-то книжицы.

Офицер оценивающе поднял брови, и насмешка в его глазах сменилась искренним интересом.

– Ого! Философ! Ну-ка, что же это у тебя в узле-то такого разумного, кроме смены портков?

Ломоносов бережно вынул две книги в потертых кожаных переплетах и протянул их.

– «Арифметика, сиречь наука числительная» Леонтия Магницкого. И «Грамматика» Мелетия Смотрицкого.

Офицер взял книги, не скрывая удивления. Он полистал «Арифметику», остановившись на странице со сложной геометрической задачей, кивнул про себя, затем посмотрел на «Грамматику».

– Смотрицкий… Это же старое издание. По ней, чай, и сам государь Петр Алексеевич учился. Редкость теперь. Ты откуда книги достал?

– Отец мой, Василий Дорофеевич Ломоносов, человек был грамотный, книги ценил, – с гордостью сказал Ломоно-

сов. – Это его. Мне в наследство.

– Так, так… – Офицер закрыл книгу, передал её обратно. – А прадед твой, поди, носы ломал в кулачных боях и обзавёлся фамилией такой. – Улыбнулся он, и вздрогнул от порыва ледяного ветра.

– Сие мне неведомо. – Сдержанно ответил парень.

– Ишь, погодка, кости промораживает. – Сменил тему офицер. – А у меня самоварчик закипает. Тут недалече. Не желаешь отогреться, силач поморский? Заодно и расскажешь, как тебя на эту науку потянуло. Любопытно мне.

Предложение было столь неожиданным и шедшим вразрез со всей осторожностью, привитой северной жизнью, что Ломоносов на мгновение опешил. Он взглянул на морского офицера: в смуглом лице читалась не просто жалость или любопытство, а какое-то глубинное понимание, товарищество духа, нашедшего в нём родственную душу.

– Я… а я не помешаю? – наконец выдавил он.

– Коли помешал бы, не звал бы, – отрезал моряк, уже поворачиваясь и делая шаг вдоль пристани, явно не сомневаясь, что за ним последуют.

Ломоносов, поспешно завязывая узел, тяжело засеменил

следом. Они шли мимо складских амбаров, откуда пахло рогожей и вяленой рыбой, мимо кузниц, где слышался перезвон молотов, мимо казарм, откуда доносилась грубая солдатская брань и заливистый хохот. Наконец свернули в переулок к небольшому, но крепкому, в три окна, каменному дому, стоявшему чуть в стороне от главной дороги. Офицер толкнул тяжелую, обитую железом дверь, и Михайло шагнул в царство тепла, тишины и странного, волнующего запаха – смеси воска, старой бумаги, ладанки и сушёного табака.

Просторная комната, служившая, судя по всему, и кабинетом, и жильем, была удивительно скромна для морского начальства. Стены, обитые простыми дубовыми панелями, были сплошь уставлены полками, а те, в свою очередь, – книгами. Они стояли ровными рядами, лежали стопками на простом деревянном столе, заваленном также циркулями, линейками и свернутыми в трубки чертежами. В углу, под образом Николая Чудотворца, покровителя мореходов, теплилась лампада. Рядом видна была старинная шпага в простых ножнах, и висели на гвозде морской сюртук и ботфорты. В железной печке-голландке, покрытой изразцами с синими цветами, тихо потрескивали угли. И на столе рядом с чернильницей из морской раковины действительно уже через минуту поблескивал медным боком небольшой самовар, от которого шел легкий пар.

– Садись! – Офицер скинул мокрый плащ и треуголку, остался в простой холщовой рубахе, подпоясанной ремнем. Поставил у самовара блюдо с баранками – Правда, жена с сыном сегодня с братом в городе гостят, но мы тут и сами управимся. Я – Калмыков. Денис Спиридонович. Служу здесь.

– Ломоносов. Михайло, – отозвался гость, с трудом умещаясь на табурете у стола.

– Не стесняйся, Михайло… – Денис Спиридонович налил ему чаю из самовара в простую глиняную кружку. Запахло какими-то лесными, горьковатыми травами. – Из поморов, значит. Рыбу ловили, зверя били?

– И рыбу ловили, и на промыслы ходили, – кивнул Михайло, с благодарностью принимая тёплую кружку в окоченевшие ладони.

– А я вот – калмык, – сказал Денис Спиридонович просто, отпивая свой чай и наблюдая за реакцией.

Ломоносов, привыкший на своем севере к разноязыкому люду – и к ненцам, и к самоедам, к норвежцам-торговцам, – лишь кивнул, не находя в этом ничего удивительного.

– Вижу, книги мои тебя заинтересовали, – продолжил хозяин, обводя комнату рукой. – Небось, думаешь: откуда у мо-

ряка, да еще инородца, такая библиотека? Слыхал, поди, что мы, степняки, только на конях скакать да луки натягивать горазды.

– Ученье – свет, а неученье – тьма, – осторожно процитировал Михайло, не зная, как иначе ответить.

– Верно! – Калмыков одобрительно стукнул ладонью по столу. – Точно в цель. А вот многие из столичной братии, так не мыслят. Им бы чин, да орден, да деревеньки с крепостными душами. А ты… скажи-ка, Михайло, зачем тебе науки? Парню здоровенному, которому и пашню поднять, и в море уйти – раздолье. В твои-то годы пора семью ставить, хозяйство вести. А не скитаться по чужим углам за книжной премудростью.

Ломоносов отпил глоток горячего отвара, собрался с мыслями. Потом поднял глаза и посмотрел на Калмыкова прямо, открыто.

– Нет такой силы, ваша милость, что удержала бы меня. Влечёт. Читаю – и будто свет внутри зажигается. Познать, как устроено мироздание, от чего гром гремит, отчего северное сияние блещет, как металлы в земле родятся… Постичь законы природы и послужить – вот мое желание. А одной мышечной силой, хоть она и есть, Отечеству служить – ма-

ловато будет.

Калмыков слушал, не перебивая, и его цепкий, насмешливый взгляд постепенно менялся, наполняясь глубокой, серьезной думой, почти грустью.

– Послужить Отечеству… – медленно повторил он. – Слова-то, какие верные нашёл. Таких, как ты, наш батюшка-государь Петр Алексеевич примечал и пестовал. Ценил пуще родовитых щенков. Сам видел. Бывало, за усердие и смекалку – чином наградит, бывало – за упрямство и глупость отдубасит кулаком, что звёзды в полдень увидишь. В нём самом две стихии жили: благородная, светлая, и грозная, беспощадная. Как штиль и шторм в море.

Он помолчал, разглядывая пламя в жестяной лампе на столе. Потом резко встал, подошел к книжному «шкапу» и вынул оттуда толстую, в потертом кожаном переплёте рукопись. Бережно положил её перед Ломоносовым.

– Вот. Мой главный труд. «Генеральные сигналы для флота». Чтобы корабли в море, в дымке, в бою могли говорить друг с другом. Без шума, суеты и путаницы. Одним поднятым флагом, одной фигурой из вымпелов – целый приказ передать на версту и далее. Чтоб эскадра действовала, как единое тело. Эту систему сейчас весь флот уже осваивает.

Ломоносов с почтительным любопытством провел пальцами по коже переплета, увидел на страницах аккуратные столбцы, таблицы, схемы расположения цветных флажков. Это была не абстрактная наука, а сама жизнь, воплощенная в строгом порядке.

– Это… это великое дело, ваша милость. Целая наука.

– Дело – да, – согласился Калмыков, садясь обратно. Лицо его стало сосредоточенным. – А родилось оно не на пустом месте. Не из одних только книг по навигации. Оно выстрадано. Оно выросло из одной истории. О знаках и не только. Тёмной истории, запутанной, как морской узел, и страшной. Я молчал о ней… сколько лет? Да почти всю жизнь. Носил в себе, как закрытый ларец. А теперь… гляжу на тебя и вижу: не просто парень ты здоровый с книжками. Вижу огонь. Тот, что и у меня когда-то горел. И думаю: может, поведать пора? Чтобы не ушла правда эта в могилу со мной. Чтоб люди знали.

Он пристально посмотрел на Ломоносова, и в тихой каюте стало слышно, как за окном воет ветер и с дальней рейки доносится глухой удар рынды – били полдень.

– Сегодня выдалось у меня время свободное, что у нас тут редко бывает. Хочешь услышать о событиях, коим уж поболе

полутора десятков лет? Узнать, как чуть не погибла Россия не от шведской картечи, а от яда и предательства? – спросил Денис Спиридонович Калмыков, и голос его зазвучал тихо, но с такой железной внутренней силой, что по могучей спине Ломоносова, словно горячая волна пробежала. – Хочешь услышать историю о даре, что нес смерть, о верности, что крепче пытки, и о том, как простой калмыцкий парень стал пешкой, что сумела заслонить короля?

Михайло Ломоносов, забыв про усталость и невзгоды, и про свою дорогу в Москву, завороженно кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Он почувствовал, что сейчас переступит неведомый порог и отправится в прошлое, в саму ткань Истории, сотканную из реальных событий, живой очевидец которых сидит перед ним.

Глава 3

В комнате, где время, казалось, замедлило свой бег, упрятанное от порывов балтийского ветра и мерного гула портовой жизни, пахло теперь не только чаем и старой бумагой. Воздух наполнился плотным, почти осязаемым шлейфом прошлого. Денис Спиридонович отхлебнул из кружки, беззвучно поставил её на стол, и взгляд его устремился сквозь заиндевевшее стекло окна. Туда, где вдалеке качались на воде силуэты корабельных мачт. Его смуглые, испещренные мелкими морщинами руки лежали спокойно на столе, но в этой позе была собранность человека, готовящегося к долгому и трудному переходу по лабиринтам собственной памяти.

– Петр Алексеевич… – начал он, и это имя прозвучало с каким-то особым, сдержанным уважением, но лишенным обычного для служивых людей подобострастия. – Его, Михайло, на холстах да в хвалебных одах изображают исполином, держащим в одной руке скипетр, а в другой – корабельный рубанок. А видели те, кто это писал, как он, склонившись над верфью, самолично счищает стружку с киля? Видели – как же! Вообще редко кто решался честно описать, как выглядели его глаза, когда он обнаруживал казнокрадство

или тупость, прикрытую спесью. Это были глаза грозного, справедливого и до жути практичного хозяина необъятной усадьбы под названием Россия. В гневе он был страшен! Не истеричен, нет. Скор и точен, как удар палаша. Мог единым окриком – и я слышал этот окрик, леденящий душу, – обратить в бегство целую коллегию важных сановников. А мог, встретив на улице солдата со справным, да ещё и до блеска начищенным ружьем, обнять его, расцеловать в обе щеки и, перекинувшись парой слов, тут же, на месте, произвести в капралы. В нём жили два существа: неистовый, нетерпеливый творец нового – и суровый, подозрительный следователь, выискивающий малейшую трещину в своем грандиозном замысле.

Люди сказывали, что заседая однажды в Сенате и слушая дела о различных воровствах, царь в гневе своём клялся пресечь оные и тотчас сказал тогдашнему генерал-прокурору Павлу Ивановичу Ягужинскому: «Сейчас напиши от моего имени указ во всё государство такого содержания: что если кто и на столько украдёт, что можно купить верёвку, тот, без дальнейшего следствия, повешен и будет». Генерал-прокурор, выслушав строгое повеление, взялся было уже за перо, но несколько поудержавшись, отвечал Петру Алексеевичу: «Подумайте, Ваше Величество, какие следствия будет иметь такой указ?» – «Пиши, – прервал государь, – что я тебе приказал». – Ягужинский всё ещё не писал и, наконец, с улыбкою сказал ему: «Всемилостивейший государь! Неужели ты

хочешь остаться императором один, без служителей и подданных? Все мы воруем, с тем только различием, что один более и приметнее, нежели другой». Государь, погружённый в свои мысли, услышав такой забавный ответ, рассмеялся и замолчал.

Ложь и тупость он ненавидел лютой ненавистью, ибо видел в них главных внутренних врагов – страшнее любого Карла Шведского. Тогда Россию, как корабль, с мели снимали. А доски, что трещали, без жалости за борт летели.

Денис Калмыков помолчал, давая юноше вникнуть в эти слова. Ломоносов сидел неподвижно, его мощные руки лежали на коленях, а взгляд, прямой и жадно-любознательный, был прикован к рассказчику.

– Я государя впервые увидел не на троне, а в длинной, похожей на амбар палате Навигацкой школы, что на Сухаревой башне в Москве. Воздух там был густой от меловой пыли, запаха пота, перегорелого масла в лампадах. На грубо сколоченных столах – астролябии, циркули, вороха исписанных цифрами листов. И он, Петр Алексеевич, посреди этого хаоса знаний. Высоченный, в простом кафтане из верблюжьего сукна, запачканном то ли дёгтем, то ли чернилами. И с мозолистыми, не по-царски грубыми руками. Он принимал экзамен у нас, вернувшихся из-за моря. И вот стоит он, поло-

жив одну руку на карту Балтики, а другой потирает подбородок, и смотрит. Смотрит на каждого так, будто лучом каким неведомым, просвечивает насквозь. Видит не только то, что ты вызубрил, но и то, насколько ты это понял, почувствовал кожей, как говорится. От этого взгляда у иного и столбняк нападал – язык к небу прилипал. Со мной… со мной вышло иначе. Потому что я, возвращаясь из Англии, вез в голове не просто набор правил да формул. Я вез живую картину: как штурман на «Ребекке», где я служил практикантом. В шторм у скалистого берега вел судно, сверяясь не только с лагом и компасом, но и с цветом воды, и с полетом птиц. Я вез понимание, что наука – это инструмент, а не догма. И когда он, Петр Алексеевич, задал мне вовсе не книжный, а жизненный вопрос – о постановке парусов при внезапном шквале с подветренной стороны, – я ответил не по учебнику, а как есть на деле. Он тогда молча кивнул, и в его глазах мелькнула искра одобрения. Вот это он ценил превыше всего: не родословную, не умение вилять словами, а суть дела. Практическую пользу. Чистоган ума, а не кошелёк или родню!

Рассказчик откинулся на спинку стула, и тень от коптящей лампы легла на его лицо, делая его вдруг усталым, почти старым.

– Но была в нем, Михайло, и безжалостная жила. Холодная, как сталь клинка. Если он уличал кого в предательстве

дела, в казнокрадстве, в умышленном вредительстве своим реформам – пощады не жди! Головы летели с плеч, и самые голубые крови не спасали. Да, он Россию, словно огромный, на мель севший и прогнивший корабль, стаскивал с мели. И для этого ломал через колено всё, что мешало: и косность боярства, и невежество приказных, и вековые предрассудки. Ломал, не оглядываясь на стоны. Он строил новое государство, и фундамент его был замешан не только на поте и железе, но, увы, и на крови. И те, кому это новое было ненавистно, кто терял власть и привилегии, – они не дремали. Они копали подкопы. И алхимия с её таинственностью, с её обещаниями могущества и богатства, была тогда для них идеальной лопатой. Но… я забегаю вперед.

Калмыков придвинул к гостю блюдо с баранками, брынзу. Снова налил чаю. Рука его была тверда.

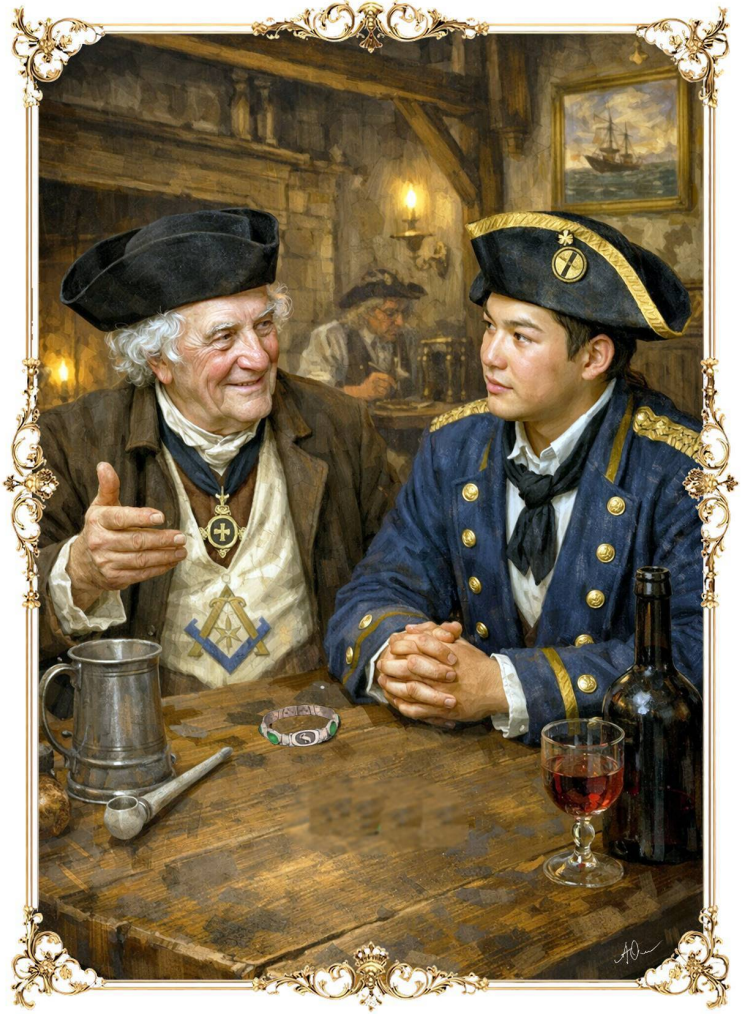
– А тогда я был молод, полон сил и той особой, дерзкой уверенности, что даётся человеку, впервые почувствовавшему вкус настоящего знания. Мне было двадцать восемь. Архангельск. Ты его знаешь, но теперешний Архангельск – это уже осевший, устоявшийся город. А тогда это был настоящий Вавилон на берегу Двины. Представь: низкое северное небо, почти всегда в свинцовых тучах. Резкий, несущий мелкую ледяную крошку ветер с моря. И вдоль всего длинного-предлинного берега – невероятное многоголосие. Скрип

тысяч блоков, грохот скатываемых по сходням бочек с рыбой, ржанье лошадей, грубый смех матросов на разных языках: голландском, немецком, датском, английском. Воздух – крутая смесь запахов: воды и водорослей, едкой смолы, дыма из труб кузниц, пряных иностранных табаков, выпечки, чёрного русского хлеба.

Он закрыл глаза, словно вглядываясь в ту давнюю картину.

– Лес мачт, Михайло. Такой густой, что, кажется, по нему с одного корабля на другой перебраться можно, не замочив ног. И флаги… флаги всех мыслимых цветов и рисунков. Наши, с Андреевским крестом, – ещё новёхонькие, непривычные глазу. Шведские, голландские, ганзейские. И среди этого всего – я. Денис Калмыков, экстра-мичман, только что зачисленный на пахнущий свежим деревом и пенькой фрегат «Гавриил». Мозги мои были набиты под завязку не только навигацией и корабельной архитектурой. Я привез из Англии идеи. О сигнализации, об организации службы на корабле, о новых методах картографии. И еще… еще я привез одну вещицу. Диковинную и, как потом оказалось, роковую.

Калмыков встал, прошелся по комнате. Его тень, изломанная и зыбкая, проплыла по стенам с книжными полками, по развешанным мореходными картами.



– И вот в нашем порту, как шаровая молния, проносится весть: «Светлейший! Сам светлейший князь Меншиков изволит прибыть с ревизией!» Представляешь суматоху? Александр Данилович Меншиков! «Полудержавный властелин», любимец Петра, герой Полтавы, непременный участник всех пиров и ассамблей, первый богач империи и, как шептались по углам, первый же казнокрад. Весь город, от губернатора до последнего грузчика, вскочил на дыбы. Усердно чистили мостовые, которые тут же заносило свежим снегом, вывешивали ковры на смотровых улицах, денщики офицеров лихорадочно начищали и гладили мундиры своих господ. А я сидел в своей казенной каморке при портовой конторе и обдумывал дерзкий план. Мысль была проста: вот он, шанс! Карьера, признание, возможность быть замеченным не просто начальством, а самим столпом власти. Петру нужны толковые люди. Надо себя показать. Не подхалимством, а делом. И… и была у меня припасена одна вещица. Браслет.

Он остановился у полки с книгами, но не смотрел на них.

– Назывался он «Девять глаз Ибиса». Работа тончайшая, явно не европейская. Обруч из темного серебра с причудливой чеканкой, изображавшей какие-то знаки, напоминав-

шие египетские иероглифы. И вправлены в него были девять камней. Не алмазов и не изумрудов, а каких-то зелёных, с золотистыми прожилками внутри. Когда поворачиваешь его на свету, эти прожилки мерцают, точно зрачки. Взгляд у него был… тяжелый. Неприятный. Мне его в Лондоне подарил один странный тип, с которым свела судьба, – Роберт Фламанд. Алхимик, как он сам себя называл, член какого-то философского общества. Он бегло говорил по-русски. Мы разговорились о науках, он, узнав, что я скоро возвращаюсь в Россию, очень оживился. На прощание вручил презент, эту штуковину. Сказал: «Возьми, юноша. Это символ знания, сокрытого от профанов. Найди ему в вашей дикой стране самого достойного хозяина». Я тогда счел его чудаком-мистиком, а браслет – просто дорогим и занятным курьезом. Решил, что если представится случай, преподнесу его кому-нибудь из начальства как редкость. В знак уважения или к важному событию.

– И такой случай, похоже, вам представился, – тихо сказал Ломоносов.

– Представился, – кивнул Калмыков, возвращаясь к столу. – Я, с грехом пополам, привёл в порядок свой единственный парадный мундир, сунул браслет в карман и отправился туда, где остановился светлейший, – в лучший по тем временам дом купца Филатова, у набережной. А в воротах – толчея, швейцары, гайдуки в ливреях. Я, пользуясь суматохой и

своим мундиром, проскользнул во двор, а оттуда – в сени. В большой горнице, уставленной дубовыми лавками, уже толпились местные чины, купцы, офицеры. И в центре, возле горящего камина, стоял Он. Александр Данилович. Не так высок, как Петр, но статен, широк в плечах. Лицо круглое, румяное, глаза быстрые, сметливые и с постоянным прищуром, будто оценивающие всё и вся с точки зрения выгоды. Улыбался он присутствующим, кивал, но в этой улыбке было больше привычки, чем тепла. Я, собравшись с духом, пробился сквозь толпу и, сделав шаг вперед, отчеканил по уставу:

– Ваша светлость! Экстра-мичман Денис Калмыков, недавно возвратившийся с обучения из Англии, осмеливается преподнести через вас государю императору диковинную вещь, как знак верности и рвения к службе!

Все удивленно затихли. Меншиков обернулся, его быстрый взгляд скользнул по моему лицу, мундиру, задержался на моих руках, и в глубине его глаз что-то мелькнуло – не интерес, а скорее любопытство, смешанное с осторожностью. Он взял браслет, который я протянул на ладони. Взвесил его, покрутил, поднес к свету, разглядывая камни.

– Диковинка… и вправду диковинка, – произнес он нараспев, и его голос, немного гнусавый, заполнил комнату. –

Недурно. Откуда ж такая?

– От английских ученых, ваша светлость. Символ их уважения к просвещенному монарху, – выпалил я заготовленную фразу.

Меншиков снова посмотрел на меня, и теперь в его взгляде я увидел нечто иное: расчет. Он был вороват, как лиса, и постоянно искал, чем бы отвлечь государя от ревизий и проверок, которые могли вскрыть его собственные махинации. И эта странная, мистическая вещица, видимо, показалась ему идеальной отвлекающей приманкой.

– Похвально, мичман, похвально! – громко сказал он, и его лицо расплылось в широкой, совсем уже деловой улыбке. – Усердие твоё я непременно доложу государю. Вещь любопытная. Думаю, Петр Алексеевич оценит такой… экзотический дар.

Он ловко сунул браслет в складки своего камзола, кивнул мне и повернулся к другим просителям. Я был на седьмом небе. Мечтал о благодарности, о производстве в следующий чин, о том, что мое имя будет замечено. А получил… А получил я билет в самый ад.

Калмыков умолк. Он смотрел на свои руки, сжатые в ку-

лаки, будто чувствуя в них холод кандалов.

– Прошло несколько месяцев. Я уже освоился на «Гаврииле», мы готовились к переходу в Ревель. И вдруг, в один из дней, когда я проверял на складе такелаж, ко мне подошли двое. Не в мундирах, а в обычных, но добротных серых кафтанах. Лица – непроницаемые, будто вырезанные из желтого песчаника. Один, постарше, с жидкой бородкой, спросил тихо, без всякой приставки «господин»:

– Денис Калмыков?
– Я.
– Собирай вещи. С нами. По государеву делу.

Я онемел. «Какое дело?»

– Узнаешь. Поторопись.

Меня даже не арестовали формально. Меня просто взяли. Под белы руки, без лишних слов, вывели со склада и посадили в простую, закрытую повозку, стоявшую за углом. Так я впервые в жизни проехался в карете, но не как вельможа, а как преступник. Везут, трясет по ухабам, а куда – молчок. Окна занавешены. Я ломал голову: в чем провинился? Может, Меншикову, что не понравилось? Или, может, в Англии что натворил, о чем и не ведаю? Только под конец второго

дня пути, услышав крики часовых на знакомом шлагбауме, я понял: везут в Петербург. И сердце мое упало. В Петербург «по государеву делу» везли либо для награды, либо… в Тайную канцелярию.

Он сделал глоток холодного чая, его горло снова перехватило, будто от горечи.

– Привезли ночью. Не в крепость, а в невзрачное здание на городской окраине. Ввели в подвал. Каменный мешок с земляным полом, зарешеченное окошко под потолком, дубовый стол да две табуретки. И запах… Запах сырости, страха и чего-то кислого, въевшегося в стены. Там меня и оставили. На целые сутки. Без еды, без воды, без вопросов. Это был первый этап – сломить волю ожиданием. А на вторые сутки пришли они. Следователь, тощий, с птичьим лицом и холодными глазами, и писарь. Началось.

Калмыков говорил теперь тише, но каждое слово было отчеканено или отлито из свинца, как пуля.

– Сначала вопросы были будничные: кто, откуда, как обучался, кого знал в Англии. Потом – о браслете. Где взял, кто дал, что означают знаки на нем, о чем говорил англичанин. Я отвечал честно, во всех подробностях. Они записывали. А на третий день… на третий день тон изменился.

«Не врешь ли, калмык? Может, этот браслет – инструмент дьявольский? Может, ты научился у англичан колдовать? И не подослан ли ты, чтобы извести царя-батюшку порчей?» Я отнекивался, клялся. Тогда они принесли свечу. И начали… уточнять детали. Прижигали раскаленным воском тыльную сторону запястий и грудь, требуя сказать «правду» о связях с масонами и алхимиками. Я кричал, что никаких связей не имел, что браслет – просто подарок. Не верили. Потом была дыба. Я, слава Богу, был крепок. Выдержал, не потерял сознания. Но боль… боль была такая, что мир распадался на острые осколки. И сквозь этот адский туман я продолжал твердить одно: «Не виновен… Не знаю… Фламанд, англичанин… браслет…»

Он провел рукой по лицу, будто стирая невидимую пелену былого ужаса.

– А потом, после одного из таких «допросов», когда я уже почти перестал чувствовать свое тело, в камеру вошел Он. Вошел один, без свиты. В том же простом кафтане, только на этот раз чистом. И в камере стало тесно от его присутствия. Следователь и писарь замерли, как истуканы. Петр подошел ко мне. Я, полуживой, висел на растяжках, не в силах даже голову поднять. Он взял мою изуродованную, распухшую руку, разглядел ожоги, посмотрел на моё лицо. И спросил. Его голос был негромок, но прорезал гул в ушах:

– Ну что, калмык, признаешься, наконец, в колдовстве и злом умысле?

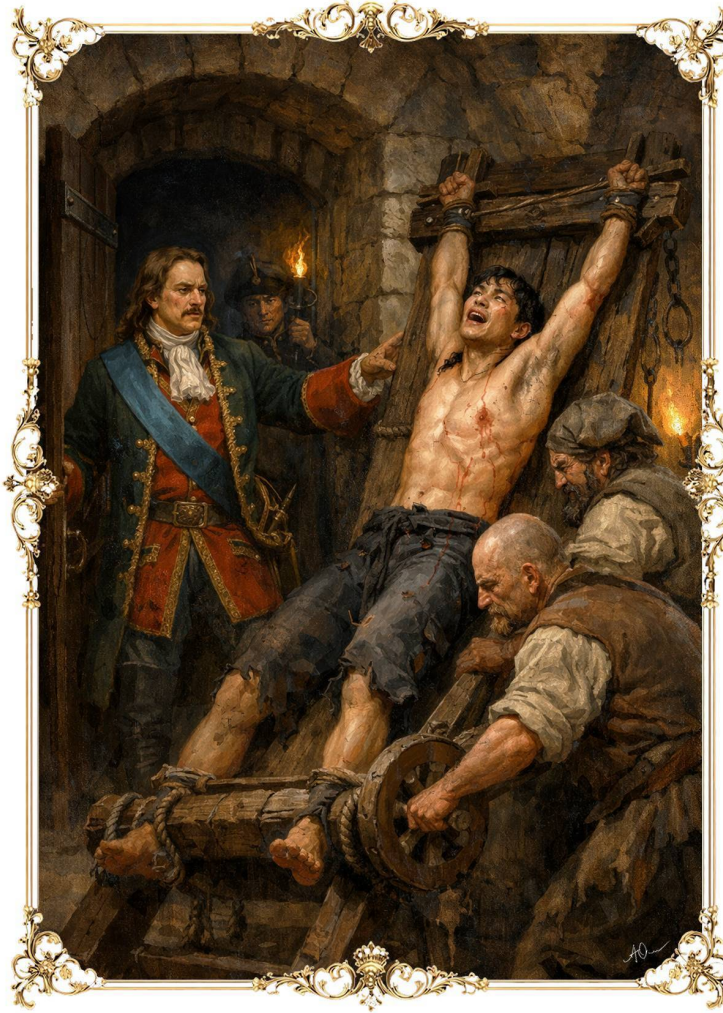
Я собрал последние силы, прошептал губами, потрескавшимися от жажды:

– Не… в чем… государь… Я… не…

И тогда он задал вопрос. Не про браслет, не про Фламанда, не про порчу. Он спросил:

– Как рассчитывается девиация магнитного компаса на корабле, обшитом железными скобами? И какую поправку вносить при плавании в высоких широтах?

В моей голове, превратившейся в сплошной болезненный туман, будто сверкнула молния. Вопрос был из самой сути моей профессии, из той области, где для меня не существовало страха или лжи, только чистая математика и физика. И я ответил. Сначала сбивчиво, хрипло, а потом, по мере того как язык обретал гибкость, все четче и яснее. Я говорил о железе, искажающем поле, о методах эмпирической поверки, о



таблицах, которые мы составляли на «Ребекке». Говорил формулы, термины. Я забыл, где нахожусь, забыл про боль. Я просто отвечал на вопрос, как на экзамене.

Петр слушал, не перебивая. Стоял, скрестив руки на груди, и слушал. Когда я замолчал, исчерпав все, что знал, он повернулся к следователю. Лицо его было непроницаемо.

– Видишь, – сказал он отрывисто. – Этот человек мыслит категориями математики и навигации. Его мозг устроен так. Для колдовства и дьявольских интриг здесь, – он ткнул пальцем себе в висок, – нет места. Он не виновен. Он – орудие. Пешка в чужой игре. А мне, – Петр обернулся и впервые прямо взглянул на меня, и в его глазах я увидел не милость, а холодный, стратегический расчет, – а мне нужна пешка, которая видит доску. Которая сможет быть полезна ферзю.

Он кивнул следователю:

– Отпустить. Вылечить. И доставить ко мне, когда будет в состоянии ходить.

И вышел. А я, Михайло, потерял сознание. Но уже не от

боли, а от дикого, невероятного облегчения.

Денис Спиридонович откинулся на спинку стула, и по его лицу скользнула тень той давней, выстраданной улыбки.

– Меня отпоили, откормили, залечили раны. А через несколько дней я стоял почти в том месте, в кабинете Летнего дворца, где когда-то сдавал экзамен. Петр был один. Он ходил взад-вперед, держа за спиной свою длинную голландскую трубку.

– Зело вникай, калмык, – сказал он не глядя на меня. – Кто-то очень умный и очень опасный использует эту алхимическую мишуру, эту тьму, чтобы копать под нас. Недавнее убийство моей знакомой, которой я пожаловал сей браслет – только начало. Цель – я. Цель – остановить то, что мы строим. Все подробности тебе пока сказывать не стану. Но того браслета и странной записки с шифром, которую при ней нашли, недостаточно для большого дела. Это пробный шар. Разведка боем. И они выбрали тебя в качестве… почтальона. Почти случайного, никому не интересного. И это их ошибка.

Он остановился напротив меня.

– Когда тебе прикажут, вернешься в Архангельск. Будешь служить, как служил. Но твоя служба будет сложнее. Ты дол-

жен ждать там визитов от тех, кто стоит за всем этим. От этих «просвещённых» господ, что считают Россию дремучей страной, которой нужно указать её место. И ты теперь будешь моими глазами и ушами там, где официальные лица ничего не услышат. Ты мне подходишь для этого: ты – никто. Бывший слуга, инородец, человек без рода и племени в их глазах. На таких не смотрят. Будешь ждать того англичанина-алхимика или его посланников. По донесениям будут там, в порту аглицкие корабли с тайным грузом. Примерно через полгода, а может, боле. Будешь искать связи с тем знакомым алхимиком. И помни: никому ни слова. Ни начальству, ни друзьям. Только мне. Через доверенных лиц моих. Понятно?

Я вытянулся в струнку, и всё моё существо, ещё недавно разбитое, ответило ему жаркой волной преданности.

– Так точно, Государь. Понятно.

– Тогда ступай! И да поможет тебе Бог и твое калмыцкое упрямство, – он махнул рукой, и аудиенция была окончена.

Калмыков умолк. Рассказ оборвался, но в комнате всё ещё висел гул его слов, будто отзвук далекого грома. Ломоносов сидел, не шелохнувшись, подавленный и восхищенный одновременно. Он узнал не просто историю спасения. Он увидел рождение воли и примера служения человека, кото-

рый теперь, через годы, глядел на него со спокойной силой во взгляде. И Михайло догадывался, что история бывалого морского офицера только началась.

Глава 4

Тишина вокруг была густой, насыщенной, подобной тёмному северному мёду, что медленно стекает с ложки. Она вбирала в себя треск горящих в печи смолистых поленьев, далекий, приглушенный стеной прерывистый гудок сигнала с рейда и мерное, тяжелое дыхание двух мужчин. Ломоносов сидел, завороженный, боясь пошевельнуться, словно резким движением мог разорвать незримую паутину, связавшую его с самой гущей истории. Перед ним был уже не начальник порта рядом с аккуратно висящим на спинке стула камзолом, а человек, вывернутый наизнанку памятью, снова переживавший дни, когда он был не командиром, а узником, мишенью и пешкой в большой игре.

Михайло сосредоточено обдумывал всё услышанное. Он не особо обращал внимание на визиты вестового. Тот появлялся пару раз, прерывая рассказ Калмыкова. Кратко докладывал и также кратко получил от Калмыкова необходимые указания.

Денис Спиридоныч вновь наполнил их кружки, поставил на стол и закрыл глаза, отдаваясь течению воспоминаний. Когда он снова заговорил, его голос утратил былую твер-

дость, стал приглушенным, немного хрипловатым, будто доносился не из этой комнаты, а сквозь толщу лет и сотни вёрст.

– Спустя полгода меня отправили обратно. В Архангельск. Документ о назначении мичманом на портовое судно «Голубь» был в порядке, подписи, печати… Всё как положено. Но это был уже не тот город, что я покидал ранее, будучи полон тревожных ожиданий и тяжких предчувствий. Нет, Михайло, дома стояли те же самые: низкие, крепкие, из кондовой архангельской сосны, почерневшие от влаги и времени. И запахи те же: вездесущий, въедливый дух вяленой воблы и трески, сладковатый запах распиленного леса, едкая смола, кипящая в чанах на верфи, и над всем этим – свежий, солёный, не знающий пощады ветер с Двинской губы. И гомон тот же: крики грузчиков на испорченном русско-голландском жаргоне – «Мастак, майна! Вира!» Скрип бесконечных телег, доставляющих товары с кораблей на склады Гостиного двора, ругань боцманов, обучающих новобранцев. Все то же. Но краски сплыли, мир стал плоским и серым, как промокшая обёрточная бумага.

Он открыл глаза, устремив взгляд на пламя в топке.

– Я был свободен. Но эта свобода была хуже каземата. На мне стояло незримое, но для всех читаемое клеймо. Взгляды,

которые встречали меня на улицах, были разными: у одних – опасливое скольжение, будто я прокаженный. У других – холодное, брезгливое презрение к «калмычёнку», выскочке, который во что-то вляпался; у третьих – туповатое любопытство, как к диковинному зверю в балагане. А я был разбит. Не только телом, хотя оно напоминало о себе постоянно: руки, эти самые руки, – Калмыков разжал и снова сжал кулаки, – предательски дрожали, когда я пытался вывести ровную линию на карте; спина ныла на перемену погоды тупой, ноющей болью, будто в кости вбили гвозди. Хуже было другое. Душа, Михайло. Душа была выжжена, как пашня после пожара. Пустота. В ней не осталось ни гнева, ни страха, лишь серая, бездонная усталость и чувство полного одиночества. По ночам… По ночам во снах являлись они. Не призраки, нет. Гораздо реальнее. Я снова чувствовал холодное прикосновение сырого ремня дыбы на запястьях, слышал негромкий, деловитый голос следователя: «Признавайся, калмык, с чистой душой легче будет». И запах. Запах горящей свечи, пота и чего-то металлического, железистого – может, крови, а может, просто страха. Я просыпался посреди ночи, зажимая рот подушкой, чтобы не завыть на всю округу, и лежал до утра, глядя в потолок, где тараканы неторопливо совершали свой путь.

Денис Спиридонович помолчал, дав юноше прочувствовать всю горечь своего состояния.

– Снял я угол. Не комнату даже, а именно угол. На самом краю города, за последней линией амбаров, там, где уже начинались дровяные склады и избы поморов. Избёнка была старая, покосившаяся, сложенная «в обло» из толстенных брёвен, почерневших от времени. Ветер гулял по ней, как по скворечне, находя щели в обветшалых затворках из старого мха. Зато из крошечного волокового окошка был виден кусочек залива и мачты, стоящих на рейде судов. Вскоре домишко освободили для меня полностью. И я стал платить хозяйке, вдове лоцмана, пять алтын в месяц. Она оставляла у порога чугунок с пустой похлебкой из кислой капусты да ржаной хлеб. Я ходил на службу. На «Голубя», небольшой парусно-гребной бот, использовавшийся для перевозки мелких грузов и проверки фарватера. Работа была скучная, механическая: то измеряй глубину шестом, то доставляй какого-нибудь чиновника на стоящий на рейде фрегат. Капитан, пожилой, пропахший табаком и водкой швед на русской службе, не придирался, но и не заговаривал. Команда – отборные подонки порта – держалась от меня в стороне. Я выполнял всё, возвращался в свою конуру, запирался на щеколду и сидел, глядя в окно на темнеющую воду вдалеке. Детали о связных-помощниках я сейчас опущу, особо ждать помощи мне было не от кого. Ждал. Чего? Новых приказов от Петра? Он казался теперь существом из другого, недостижимого мира. Или новой беды? Она чувствовалась в воздухе,

как приближение грозы. А может, просто ждал, когда эта тупая, всепроникающая боль, наконец, утихнет, оставив в душе хоть что-то, кроме выжженной до пепла жизни.

Ломоносов слушал, и ему становилось физически не по себе. Великан, сидевший на табурете, съежился, будто чувствуя на собственной шкуре этот леденящий холод одиночества, эту всепоглощающую пустоту. Он видел сейчас не начальника порта, а того молодого, сломленного человека, заживо погребенного в четырех стенах с низким потолком.

– И вот однажды утром, – голос Калмыкова изменился, в нем появились первые мягкие, почти нежные обертоны, – я не смог подняться с топчана. Не от лени, нет. Всё тело было словно налито расплавленным свинцом, каждый сустав горел изнутри, в висках отбивали дробь какие-то невидимые молотки, а сознание то уплывало в черную, бездонную пустоту, то возвращалось, принося с собой лишь ощущение полной, абсолютной беспомощности. Горячка. Последствие сырости, сквозняков и, думаю, той душевной язвы, что разъедала меня изнутри. Лежу и думаю, тупо, без эмоций: вот и всё. Всё кончится здесь, в этой промозглой конуре, на вонючей овчине. Умру, никто и не заплачет. Не будет переживать. Исчезнет Денис Калмыков, как исчезает щепка, брошенная в ледяную воду осеннего моря. Даже кругов не останется. И в этот миг, на самом дне этого отчаяния, слышу – скрип-

нула дверь. Не гулкий удар, нет, а именно жалобный скрип петель, которым давно требовалась конопляная юра, пропитанная дегтем. Я подумал, почудилось. Бред начинается. Ан нет!

Денис Спиридонович поднял голову, и в его глазах, обычно таких острых и насмешливых, засветился теплый, сокровенный огонек, отражение другого, давнего пламени.

– Вошла она. Сначала я увидел лишь силуэт на фоне белёсого осеннего света, наполнявшего сени. Потом она шагнула внутрь, и глаза привыкли. Девушка. Молоденькая совсем, лет восемнадцати от роду. Одеянья простые, поморские: синий домотканый сарафан из грубого льна, поверх – короткая душегрея на заячьем меху, на ногах – берестяные лапти с суконными оборами, а на голове – кубовый платок, сбившийся набок от ветра. И волосы… Тут Калмыков на миг замялся, подбирая слова. – Волосы, выбившиеся из-под платка, были цвета… Как бы сказать. Не рыжего, нет. Это было слишком просто. Это был цвет осенней палой листвы в солнечный день, когда она лежит на земле, еще храня в себе память о дереве. Или цвет пламени, вырывающегося на миг из топки печи, – яркого, живого, золотисто-медного… В руках она несла глиняный горшок, прикрытый тряпицей. Вошла, поставила горшок на грубый деревянный стол, оглядела меня с ног до головы своими ясными, без тени смущения гла-

зами – глазами цвета морской волны в самую добрую погоду – и говорит. Голос не тонкий девичий, а низковатый, грудной, твердый.

– Видать, помирать собрался, жилец. Зря стараешься. Жизнь-то, братец, одна. И дороже всякого серебра. Её тебе Господь вручил, а ты в грязь швырять собрался.

Ломоносов, затаив дыхание, представил эту картину: тёмную, пропахшую плесенью и отчаянием избу, лежащего в лихорадке мужчину и эту девушку, вносящую с собой свет и спокойную, хозяйственную уверенность.

– Я попытался что-то сказать, отмахнуться, прогнать её. Но из горла вырвался лишь хрип. А она уже деловито, без лишней суеты, сняла душегрею, повесила на гвоздь у двери, и стала растапливать печь-каменку, что стояла посередине избы. Подбросила лучину, раздула огонь с помощью деревянного дутого короба. Потом подошла ко мне, наклонилась и положила мне на лоб ладонь. Ладонь была прохладной, шершавой от постоянной работы с сетями, веслами, льдом. Я почувствовал её прикосновение, как что-то невероятно реальное среди бреда. Она покачала головой.

– Горячка, – сказала она просто. – Надо выгонять. Лежи смирно.

И пошла. Куда – я не видел. Вернулась с охапкой каких-то трав: тут и чабрецом горьковатым пахло, и зверобоем, и ещё чем-то, что я не узнал. Стала она в большой сбитой из дощечек ступе толочь их деревянным пестом, и заваривать в жестяном чайничке. Дала отвару немного остыть. Потом подняла мою голову и вливала в меня это горькое, терпкое пойло. Крепко зажала мои челюсти, чтобы не выплюнул. Я пытался сопротивляться, слабо, стесняясь своей немощи перед этой девочкой. А потом сдался. Потому что увидел в её глазах не сентиментальную жалость, не испуг, а ту спокойную, практическую уверенность, с которой хороший мастер берётся за сломанную, но нужную вещь. Как будто она чинила не полумертвого человека, а старую, но крепкую лодку-струг, готовя её к новому плаванию.

Он снова замолчал, и на его лице появилась лёгкая, едва уловимая улыбка.

– Это была Евдокия. Красина. Дочь поморского кормщика, ушедшего со всей артелью на промысел к Груманту и не вернувшегося. Мать умерла раньше. Жила с братом Пашкой, таким же здоровым и бесшабашным, как сама природа здесь. А ко мне, как потом выяснилось, она уже больше недели ходила. Примечала, видела из своего окна, что в покинутую избу вселился худой, мрачный, вечно одинокий человек в мор-

ском кафтане. Подбрасывала в сенях, на крыльце: то свежепросольной «сигушки», завернутой в лопух, то краюху ржаного хлеба, ещё теплого от печи, то луковицу. Жалко ей меня стало. Вот так, без всяких романов и высоких мыслей, все и началось. Евдокия… Дуняша приходила каждый день, примерно в одно и то же время, когда домашние дела были переделаны. Молча, без лишних слов. Лечила: растирала мне спину и грудь каким-то зверским снадобьем на основе жира нерпы, горчицы и еще каких-то трав – жгло адски, но боль в костях отступала, словно по волшебству. Убирала в избе: выметала сор, проветривала, принесла сухого сена для постели. Готовила еду: не пустую похлебку, а наваристую уху из свежей трески, пшенную кашу с луком, иногда даже приносила кусок оленины. И сидела. Сядет на табурет у печи, достанет из кармана сарафана коротенькую, почерневшую от времени и огня глиняную трубку-носогрейку, набьет её крепким, вонючим деревенским табаком-самосадом, раскурит с уголька и сидит так, подперев щёку рукой, глядя на огонь. И курит. Спокойно, задумчиво. И в этом её молчании, в этой простой, несуетливой силе была какая-то невероятная, животворящая опора. Я начал оживать. Сначала тело: кости перестали ныть, руки перестали дрожать, вернулся аппетит. А потом, медленно, неохотно, стала оттаивать и душа. С ней я мог молчать часами, и это молчание было не мучительной пустотой, а тишиной понимания, покоем. Потом я стал говорить. Сначала о простом: о том, как устроен бот,

как ставятся паруса, как читать карту. Потом – об Англии, о высоких белых скалах Дувра, о дымном Лондоне и кораблях, что стояли на Темзе. Она слушала, не перебивая, изредка задавая короткие, точные вопросы, в которых сквозила своя, природная, не из книг почерпнутая наблюдательность. Она была как тот кряжистый, в три обхвата, корень, что держит на береговом обрыве сосну, не давая ей рухнуть в воду даже в самый лютый шторм. В ней не было ни капли фальши. И, конечно, ни грамма той придворной слащавости или подобострастия, что я уже успел узнать. Она была – настоящая. И я… – Калмыков вздохнул, и взгляд его снова стал острым, обращённым к Ломоносову. – Я понял, что выздоравливая, возвращаясь к жизни, я уже не могу, не хочу представлять свой день без её прихода. Без этого медного отсвета её волос в полутьме избы, без запаха дыма и трав от её одежды, без этого спокойного, твердого: «Ну что, Денис Спиридонович, как сегодня?» Она стала моей тихой гаванью после всех бурь. И сам не заметил, как эта гавань превратилась в нечто большее. В единственную точку опоры во всем белом свете для меня.

Глава 5

Прошло несколько недель с того дня, как Евдокия впервые переступила порог его жилища. Дни текли медленно, размеренно, наполненные тихими звуками и простыми заботами, что сами по себе были лучшим лекарством для выздоравливающего. Денис, сидя на завалинке, сложенной из толстых плах, грел на редком тепле лицо и наблюдал. Он чувствовал, как силы по крупицам возвращаются в его тело, но слабость ещё держала, будто качка при походке после долгого шторма.

Солнце, белёсое и, словно жидкое, как разведенное молоко, медленно катилось по низкому небу, пытаясь растопить иней, серебрившийся на тёмных бревнах изб и редких, покосившихся плетнях.

Перед Калмыковым, на разостланной прямо на земле холщовой постилке, сидела Дуняша. Она зажала в зубах несколько деревянных игл, а в руках с необычайной для её юности ловкостью орудовала кривым сапожным шилом и прочной льняной ниткой, пропитанной варом. Объектом её усилий был старый мичманский кафтан из грубого верблюжьего сукна, видавший виды: на локтях протерся до дыр, на

плече зияла побелевшая от солёной воды прореха. Девушка, вынула изо рта иглы и, высунув от усердия кончик языка, сшивала кожаную заплату. Её движения были точными и быстрыми, как у человека, привыкшего ценить материал и время. Вокруг висела слободская тишина, нарушаемая лишь далеким перезвоном корабельных склянок с рейда, кудахтаньем кур, роющихся в остатках прошлогоднего сена, да мерным постукиванием её нехитрых инструментов.

Они мало разговаривали, и в этом молчании не было неловкости. Денис привык к её сосредоточенному присутствию, к тому, как рыжие пряди выбиваются из-под платка и золотятся на солнце, к легкому запаху дыма, дегтя и какой-то сухой, горьковатой травы, что всегда вился вокруг неё. Он уже начал верить, что так может продолжаться и дальше. Дни покоя и восстановления.

Внезапно идиллию разорвали звуки тяжелых, неровных шагов по растаявшей грязной дороге. Они сопровождались нестройным, хриплым подвыванием – кто-то, явно изрядно приняв для храбрости, пытался спеть похабную поморскую балладу про «кумушку-селедку», но постоянно сбивался. Шаги приблизились и затихли. Послышался громкий, сиплый окрик, от которого раскудахтались куры.

– Дунька-а! Где ты, сестра окаянная! А ну-ка выкатывай-

ся, покажись очам моим!

Евдокия вздрогнула так, что уколола палец шилом. На её обычно спокойном, скуластом лице проступила внезапная бледность. Она быстро, почти испуганно, метнула взгляд на Дениса и тут же опустила глаза, продолжая, будто ничего не слыша, возиться с кафтаном. Но пальцы её дрожали.

– Слышишь, аль оглохла? Дома тебя нет, у Марьицы нет, у Авдотьи не было… А-а-а! Так ты, значит, тут. У чужака! – Голос гремел всё ближе, и вот из-за угла избы, тяжело ступая и пошатываясь, появилась фигура.

Это был мужчина лет двадцати с небольшим, высокий, не столько дородный, сколько мощно сбитый, как молодой бык. Его лицо, широкое и румяное, пылало теперь не только от холода, но и от хмеля, а маленькие, светло-серые глаза горели обидой и злобой. Одет он был в поношенный, пропахший рыбой и потом зипун, на ногах – поршни из сыромятной кожи. Это был Пашка, Павел Красин.

Увидев сестру, сидящую на земле рядом с незнакомым мужчиной, он замер, и его лицо исказилось гримасой неподдельного изумления и ярости.

– Вот где ты, змея подколодная! – взревел он, так что, ка-

залось, задрожали стекла в единственном оконце избы. – Я-то думаю, куда это сестрица моя, кровная, с утра до ночи пропадает! Думал, может, на поденку к купчихе нанялась, аль еще чего… Ан нет! Она, вишь ты, к иноземцу под крылышко пристроилась! К чумазому калмыку! К чёрту морскому, который, небось, и бога-то нашего истинного не ведает!

Денис, не меняя положения, медленно поднял голову и встретился с Пашкиным взглядом. Увидел в его глазах тупую, животную агрессию, раздуваемую обиженным самолюбием и хмелем. Он почувствовал знакомое холодное спокойствие, которое всегда накатывало на него перед опасностью. Не страх, а сосредоточенность.

Дуняша резко встала, откладывая кафтан в сторону, и шагнула вперед, встав между братом и Денисом. Она выпрямилась во весь свой невысокий рост, и в её позе не было и тени прежнего испуга, лишь твердая, почти материнская решимость.

– Уйди, Пашка. Пьяный ты в дугу. Как хвост китовый. Иди проспись, сраму на весь род не набирай.

– Я-то пьяный? А она, видите ли, меня, кормильца, урезонивать! – Пашка злобно гаркнул, и слюна брызнула изо рта. Он сделал тяжелый шаг вперед, явно нацеливаясь уже не на

сестру, а на Дениса. – А ну-ка, ты, мордоворот, портовый шпынь, отойди от девки! Слышишь меня? Пока я тебя по бревнышку, по суставчику не разобрал! В Двину-матушку на корм ракам не пустил!

Денис, с легким стоном, давали знать ещё не окрепшие мышцы, поднялся с завалинки. Он стоял, чуть склонив голову, как бы изучая противника. Пашка был крупнее, тяжелее, моложе и, что важнее, был в своей стихии, на своей земле, подпитанный яростью и самогонкой.

– Твоя сестра, Павел, спасла мне жизнь, когда я был при смерти, – сказал Денис тихо, но очень четко, так, чтобы каждое слово долетело до пьяного сознания. – Я ей обязан и благодарен. И приставать к ней, смущать или обижать я не думал и не думаю. Живу здесь один. Она пришла помочь по доброй воле. Больше ничего.

– Благодарен! Обязан! – передразнил его Пашка, кривя губы в уродливой ухмылке. – Язык-то у тебя, инородец, хорошо подвешен! Я те щас так отблагодарю, так обязывать буду, что твоя родня в степях аж охнуть не успеет! Иди сюда!

Он не стал больше церемониться. С глухим рыком, больше похожим на звук, издаваемый раненным моржом, Пашка ринулся вперед. Его атака была грубой и прямолинейной:

размахнувшись своей здоровенной, с колотушку, правой ручищей, он послал в голову Дениса мощный, размашистый удар.

Инстинкт и старая выучка, полученная когда-то в драках у английских портовых таверн, сработали быстрее мысли. Денис резко присел, сделав небольшой шаг в сторону, и кулак Пашки со свистом пролетел над его головой. Неудача лишь взбесила нападающего. Он, не теряя равновесия, двинулся следом, пытаясь схватить Дениса в медвежьи объятия, чтобы задавить массой. Денис попытался отскочить, но тело, ослабленное болезнью, отозвалось с запозданием. Пашка навалился на него всей тушей, обхватив руками. Запах перегара, пота и овчины ударил в нос. Они, сплетясь, с грохотом повалились на землю, подняв клубы мерзлой пыли и прошлогоднего мусора.

– Брат! Остановись! – вскрикнула Дуняша, но её голос потонул в общем гуле.

Шум, крики, громкое пыхтение – всё это не могло остаться незамеченным в тесной слободке. Как из-под земли начали появляться люди. Из соседних изб повыскакивали мужики – поморы с густыми бородами, в таких же, как у Пашки, зипунах. Женщины в тёмных, наглухо застегнутых сарафанах и платках, повязанных «по-бабьи» – концами назад. Ре-

бятишки, с любопытством и страхом глазеющие из-за взрослых спин.

– О, гляди-ка, Пашка Красин опять буянит!

– С кем это он? С тем, что в избе-то у вдовы Сидоровны живет?

– Да с ним, с калмычёнком! Дерутся!

– Давай, Пашка, дави его, дави! Покажи портовой мелюзге!

– Ай да калмык, ловко вертится, как угорь! Тоже, видать, не лыком шит!

Крики, смешки, одобрительные и насмешливые возгласы – все слилось в единый шум, подстегивающий дерущихся. Драка была некрасивой, чисто деревенской, на уничтожение. Пашка, находясь сверху, пытался придушить Дениса, бил его головой оземь, наносил короткие, тупые удары кулаками в корпус. Денис, задыхаясь под его тяжестью, из последних сил изгибался, подставлял локти, пытался вывернуться. Несколько раз тяжёлые кулаки все же достигли цели: он почувствовал глухую боль в ребрах, а потом теплую, солоноватую струйку крови, побежавшую из разбитой губы. Но он сам почти не бил в ответ. Что-то удерживало его: не физическая слабость, а внутреннее, еще не до конца осознанное решение. Он защищался, но не атаковал.

Наконец, собрав все силы, он сумел резко выбросить ногу, подцепить Пашку за колено и, воспользовавшись его замешательством, с силой вывернуться из-под него. Он откатился в сторону и, тяжело дыша, поднялся на ноги. Стоял, пошатываясь, вытирая окровавленный рот тыльной стороной ладони. Лицо было в грязи, одна щека начала пухнуть. Пашка тоже поднялся. Он стоял, расставив ноги, тяжело дыша, как кузнечные меха, с тупым, свирепым торжеством в маленьких глазах.

– Ну что, попробовал, черномазый? – прохрипел он, сплевывая на землю. – Слабо? А ну-ка, подходи еще!

В этот момент толпа расступилась, и к месту потасовки подошел высокий, сухопарый старик с лицом, словно вырезанным из мореного дуба. Длинная, седая борода, разделенная надвое, лежала на груди. На нем был тёмный, добротный кафтан городского покроя, а в руках – длинная, украшенная медным набалдашником палка. Это был староста поморской слободки, Игнат Потапыч, человек уважаемый, бывший кормщик, ходивший раньше аж до самой Норвегии.

– Беспорядок! – произнес он глухим и негромким голосом. Этого было достаточно, чтобы все вокруг притихли. – Опять ты, Красин, за свое взялся? Не было на тебя, окаянного, ни управы, ни сладу! На одном худом слове да на кула-

ках весь твой род держится! Беспутица! Забирай свою сестру, благо она еще не опозорена тобой окончательно, и марш домой! А с тебя, пришлый, – он повернул суровый взгляд на Дениса, – последнее предупреждение. Не смущай наш народ, не вноси раздор в дома. Не по-нашему ты живешь, не по-христиански. Убирайся подобру-поздорову, коли миром жить не выходит.

Наступила тишина, нарушаемая лишь тяжелым сопением Пашки. Все ждали, что скажет калмык. Оправдается? Извинится? Или, сгоряча, нагрубит старосте, что было бы худшим из возможных исходов.

Денис, выпрямив спину, хотя каждое движение отзывалось острой болью, медленно перевел взгляд с Пашки на старосту, а потом окинул им собравшуюся толпу. Он видел любопытство, неприязнь, глумление. И тогда он сделал нечто, абсолютно немыслимое для присутствующих. Вместо того чтобы оправдываться или огрызаться, он заговорил голосом, в котором вдруг зазвучали металлические нотки приказа, привычной власти, – тем голосом, которым отдают распоряжения на корабельной палубе.

– Староста Игнат, ваше дело – порядок в слободке соблюдать. Мое дело – служба государева. И я, мичман Денис Калмыков, заявляю вам следующее. Этот человек, Павел Красин, отныне находится под моим началом и моей ответственностью.

В толпе прошелестело удивленное недоумение. Пашка перестал тяжело дышать и уставился на Дениса, словно увидел

диковинного морского гада.

– Как… как это понять? – не сразу нашелся староста, морща лоб.

– Так и понять, – холодно и четко продолжал Денис, не обращая внимания на кровь, снова выступившую на губе. – Ему нужна постоянная работа, чтобы не болтался без дела и не глушил тоску в кабаке. А мне в порту как раз требуется человек… Знающий местные воды, не боящийся ни мороза, ни работы. Для надзора за бакенами и вехами, для проверки фарватера. Должность бакенщика. Работа тяжелая, но почетная и на государственном довольствии. Харчи, одежда, жалованье. Я его беру в дело.

Абсолютная тишина. Даже ветер, казалось, замер, слушая. Поморы переглядывались, не веря своим ушам. Этот «чумазый иноземец», только что избитый, публично оскорбленный, вместо того чтобы жаловаться начальству или, на худой конец, под покровом ночи подкараулить обидчика с кистенём, предлагает ему работу? Государственную службу? Это было выше их понимания.

Денис повернулся к Пашке, лицо которого выражало теперь полнейшую, почти комическую растерянность. Хмель будто испарился разом.

– Завтра, – отрубил Денис, – в начале шестого часа утра, быть на Соборном причале, у третьего спуска. Опоздаешь хоть на минуту – пеняй на себя. Понял?

Не дожидаясь ответа, Денис кивком подозвал к себе Дуняшу, которая стояла, завороженно глядя на него широко раскрытыми глазами. Затем, не удостоив больше никого взглядом, развернулся и, слегка прихрамывая, пошел к избе. Девушка, опомнившись, бросилась за ним, подхватив с земли кафтан и свои инструменты. Скрипучая дверь захлопнулась, оставив на улице гробовую тишину.

На пороге своего внезапно изменившегося мира замер Пашка. Тупая злость, обида, пьяная удаль – все разом с него слетело, оставив лишь пустоту, которую быстро начало заполнять новое, незнакомое чувство. Его, забияку и остолопа, которого только что грозились выгнать из слободки, не поколотили и не выгнали. Его… пристроили на работу. Ему дали шанс. Ему, Пашке Красину, предложили стать человеком с положением, бакенщиком, на государственной службе. Медленно, очень медленно, в его простецком, не отягощенном глубокими раздумьями сознании начало прорастать нечто, отдаленно напоминающее уважение, смешанное с животным изумлением.

А в избе Денис, с трудом добравшись до лавки, тяжело

опустился на неё. Всё тело ныло и гудело, щека пылала огнем, из разбитой губы сочилась кровь. Дуняша, молча, налила в жестяной таз воды из кадки, намочила чистый, хоть и грубый, лоскут мешковины и подала ему. Потом достала из ветхой скрыни маленький глиняный горшочек со своим зверобойным зельем и стала аккуратно накладывать его на ссадины. Её пальцы были удивительно нежны. Она не плакала, но глаза её, поднятые на Дениса, были огромными, влажными и полными такого сложного чувства, в котором смешались тревога, благодарность и что-то ещё, глубокое и трепетное.

– Зачем ты это сделал, Денис Спиридоныч? – прошептала она, наконец, едва слышно. – Он же тебя… Он же мог и убить.

Денис вздохнул, и это движение отозвалось болью в ребрах. Он взял её руку, всё еще сжимавшую тряпицу, и осторожно отвёл в сторону.

– Потому что он твой брат, Дуня, – тихо сказал он. – Твоя кровь. И потому что зло, как ржавчина, оно изнутри разъедает. Ему, я гляжу, просто некуда было силу деть, вот она в хмель и злобу и уходила. Теперь будет куда. Найдем ему дело.

Он посмотрел в её ясные глаза и впервые за всё время, проведенное с ней, отчетливо уловил новое щемящее чувство, что зарождалось глубоко в его искалеченной душе. И ещё он почувствовал почти забытое: вкус собственного решения. Пусть маленького, пусть касающегося судьбы всего одного забулдыги-помора. Но это был его выбор, его воля. Не приказ начальства, не вынужденный шаг загнанного зверя, а сознательный поступок человека, берущего ответственность на себя. Это был первый, робкий, но невероятно важный шаг к самому себе. Шаг из тени страха к свету, который он видел сейчас в глазах этой светловолосой девушки.

Глава 6

Утро в Архангельске начиналось не с пения петухов – их здесь почти не держали, – а с далекого, басовитого гудка, доносившегося с маяка. Гудок, нарастающий, как морской прилив, отмечал конец ночной вахты. Живой гул портовой жизни. Для Дениса Калмыкова эти звуки обрели новый, конкретный смысл. Его собственное утро теперь начиналось раньше всех – затемно, когда над Северной Двиной еще висели холодные, лиловые сумерки, а в его шагах по деревянным мостовым хрустела предрассветная наледь. Он выходил из дома, плотно притворяя за собой скрипучую дверь, чтобы не будить спавшую на полатях Дуняшу, и шел к Соборному причалу. И уже на подходе, в бледнеющем свете начинающегося дня, он увидел неподвижную, мощную фигуру, терпеливо ожидавшую его у тумбы, где была привязана небольшая шестивесельная шлюпка.

Пашка Красин теперь являлся на службу с точностью, достойной лучшего часового механизма. Он стоял, засунув огромные красные руки за пояс, в выданном ему казенном бушлате из грубого серого сукна, который сидел на его богатырских плечах несколько тесно, и в новых, пахнущих дегтем и кожей сапогах-бахилах. Выражение на его простом,

широком лице было сосредоточенно-серьезным, почти торжественным. Вид у него был такой, словно он стоял не на скользких причальных досках, а на палубе линкора, готовящегося к генеральному сражению. Хмельное буйство и пьяная ярость как будто испарились из него, уступив место растерянному, но твердому желанию не ударить в грязь лицом на работе.

Денис, не говоря ни слова, лишь кивал ему, и они вдвоем отвязывали шлюпку, грузили в неё ящик с запасными масляными фитилями для бакенов, банки с густой, как смола, черной краской, кисти, несколько тяжелых чугунных грузил и свежие, пахнущие смолой шесты с привязанными на концах пучками соломы – будущие вехи. Работа начиналась в молчании, нарушаемом лишь плеском воды о борта, скрипом уключин и далекими криками с рыболовных баркасов, возвращавшихся с моря.

Работа бакенщика в устье Двины, с её коварными мелями, постоянно меняющимися отложением ила и песка, была занятием не для слабых духом и телом. Она требовала не только силы, чтобы часами грести против течения или вытаскивать на отмели тяжёлые бочки-бакены, но и глубокого, почти инстинктивного знания реки. Знания, которое поморы впитывали с молоком матери, и которое для любого пришлого оставалось тайной за семью печатями. Здесь Паш-

ка оказался незаменим. Его простодушный ум, не отягощенный абстрактными познаниями, был идеально настроен на эту стихию. Он с одного взгляда на цвет и рябь воды определял глубину, по едва заметной струйке на поверхности угадывал подводную косу, знал, где вчера был проход, а сегодня уже намыло бар.

– Здесь, Денис, мельчать стало, – мог он сказать, перестав грести и внимательно вглядываясь в воду. – Чай, после того шторма намедни песку натащило. Надо веху поставить, а то какой голландец на пузо сядет.

И Денис, проверяя глубину шестом, всякий раз убеждался в его правоте. Пашкина преданность была простой и прямой, как у хорошо выдрессированной лошади. Денис спас его от позора, дал ему дело, мундир, регулярное жалованье – три алтына с деньгой в месяц, да еще и харчи. За это Пашка был готов, не задумываясь, лезть в ледяную воду или вступать в драку с целой артелью грузчиков. Эта преданность, смешная и трогательная в своей непосредственности, стала для Дениса первым за долгое время безусловным и прочным приобретением в этом враждебном мире.

Но Пашка принес с собой не только верность и знание реки. Он принес целую сеть невидимых связей, опутывавших порт плотнее, чем канаты и снасти. Он был своим среди этих

людей в рваных зипунах, с мозолистыми, как дуб, руками и хриплыми голосами. Через него, как через живую мембрану, Денис начал получать доступ к тому, что составляло истинный пульс порта: к слухам, сплетням, обрывкам пьяных разговоров в кабаках «У кита» или «Разбитом якоре», к шепоткам на задворках пакгаузов. Информация стекалась к нему медленно, но верно, как вода сквозь песок.

Пашка наладил первые робкие контакты с портовой средой через старых знакомых грузчиков. Информация поступала скудная и противоречивая: кто-то видел человека, похожего на описание Фламанда, в прошлом году; кто-то слышал о нём, но не мог вспомнить, на каком именно судне. Денис чувствовал, словно пытается сложить мозаику в кромешной тьме, не зная ни общей картины, ни формы деталей. Он боролся с тенью, не понимая её истинных размеров.

И вот однажды, уже ближе к вечеру, когда они заканчивали покраску последнего бакена у Корабельного ввоза и солнце, холодный багровый шар, уже касалось зубцов далеких лесов, Пашка, озираясь с преувеличенной таинственностью, отозвал Дениса в сторону, к глухой стене пустовавшей бондарной мастерской, откуда тянуло запахом стружек и старой влажной древесины.

– Спиридоныч, – начал он, понизив свой и без того сип-

ловатый голос до конспиративного шепота. – Шепнуть тебе надо. Дело-то, оно, может, пустяшное, а может, и нет…

– Говори, – коротко бросил Денис, вытирая о брюки краску с пальцев.

– Говорят по порту, фрегат один английский скоро ждут. Не абы какой, а особый. «Сайрен» звать. И везет он, слышь, не только сукно да железо, а… важного человека. Учёного.

– Так-таки и ученого? – переспросил Денис, и у него внутри что-то холодно и знакомо дрогнуло.

– Ага. Алхимиком его, кажись, сказывают. – Пашка произнес это слово с суеверным почтением, как произносят имя лешего или водяного. – Роберт Фламанд по имени. Мужики с «Лебедя», што с голландцами ходит, байку пустили. Говорят, ящики с ним особые: не с товаром, а с книгами, да со склянками странными, да с какими-то хитрыми снастями. И будто бы он с нашим, здешним, знается он. С монахом одним бывшим.

Денис насторожился, стараясь не выдать волнения.

– С каким монахом?

– А который у купца Еремеева в приказчиках ноне состоит. По прозванью Варлаам. Тихий такой, глазастый. А раньше, слышь, в скиту Выговском жил, книги там всякие древ-

ние переводил с латыни да с греческого. Для раскольников, значит.

Монах-переводчик. А Выговская пустынь – известный старообрядческий центр, место древнего благочестия и, как поговаривали, хранилище всякого запретного знания. Слухи об их библиотеках ходили даже при дворе. Имя же – Роберт Фламанд – отозвалось в памяти Дениса не просто эхом, а настоящим ударом колокола. То самое имя, которое он кричал в полубреду на допросах в Тайной канцелярии. Имя человека, вручившего ему проклятый браслет. План, намеченный Петром в тот мрачный день в застенке, начал обретать первые, пусть еще призрачные, но уже вполне материальные очертания. Паутина заговора, если он существовал, может дотянуться сюда, в этот шумный, пропахший селедкой и смолой порт.

Вернувшись в свою избу, Денис застал Дуняшу за обычными вечерними хлопотами. Она растопила печь, готовила нехитрый ужин – похлебку из солонины с крупой и толокно. Запах дымка и простой еды, обычно такой успокаивающий, сегодня не мог заглушить внутреннего возбуждения. Он молча поел, кратко поблагодарил её – она лишь кивнула в ответ, чутко уловив его настроение, – и уселся за грубо сколоченный стол, заваленный бумагами.

Он разложил перед собой свои сокровища: конспекты по навигации, испещрённые его же рукой на смеси английского, голландского и латыни; выцветшие лоции Северного и Балтийского морей; чертежи корабельных рангоутов и такелажа. В этом хаосе знаний он машинально искал теперь нечто иное – возможность сосредоточится, успокоить нервы. Его взгляд, скользя по пожелтевшим листам, зацепился за один, казавшийся незначащим. На тонком листе был начертанный им по памяти «магический квадрат» – таблица три на три клетки, где числа от одного до девяти были расположены таким хитрым образом, что сумма их в любом направлении – по горизонтали, вертикали или диагонали – равнялась пятнадцати. Это была не только математическая головоломка, но и возможный инструмент для шифрования, с которым он успел познакомился ещё в Петербурге.

И вдруг, как удар молнии в ясный день, его осенило. Сердце заколотилось с такой силой, что стало трудно дышать. Он судорожно схватил кусок чёрного столярного угля и на чистом обороте какого-то счета на поставку леса быстро, по памяти, набросал схему проклятого браслета. Девять кружков, расположенных по кругу. Его рука дрожала. Он взял тонкий, полупрозрачный лист бумаги с голландским водяным знаком, по памяти нарисовал «магический квадрат», и осторожно, затаив дыхание, наложил его на свой рисунок.

Круги-камни идеально, до мистического совпадения, легли в ячейки квадрата. Не оставалось сомнений. Браслет «Девять глаз Ибиса» был не просто украшением или даже тайником для испарившегося яда. Возможно, он сам был ключом к шифру! И, скорее всего, браслет представлял собой шифровальную решетку, своеобразную «решетку Кардано», как её иногда называли. Чтобы прочесть зашифрованное послание, нужно было наложить браслет с девятью камнями на текст, и напротив камней в определенном порядке могли находиться нужные буквы. Что если записка, найденная у убитой фаворитки Петра была зашифрована именно этим методом тайнописи? Но торжество предполагаемого открытия тут же сменилось горечью. У него был ключ, но не было замка – самого зашифрованного текста записки, о которой упоминал Государь. Денис сидел, сжимая в потных пальцах кусок угля, пока он не начал крошиться, и чувствовал себя одновременно и блистательным сыщиком, нашедшим нить, и беспомощным ребенком, не способным за этой нитью последовать.

В это время в дверь постучали. Стук был нерешительный, робкий, словно стучался не человек, а испуганная птица била крылом. Евдокия, сидевшая с веретеном у прялки, встрепенулась и вопросительно взглянула на Дениса. Тот кивнул, и она молча встала, зашла за перегородку, вглубь избы.

– Заходите, – сказал Денис, смахивая со стола угольную пыль и стараясь придать лицу спокойное выражение.

Дверь скрипнула, и в скудный свет сальной свечи, горевшей на столе, вплыла фигура. Это был невысокий, сгорбленный старичок в потертой, когда-то чёрной, а теперь выцветшей до бурого цвета рясе. Лицо его, изрезанное глубокими морщинами, было бледным и испуганным. Маленькие, запавшие глаза. Взгляд его беспокойно бегал по углам комнаты, избегая встречаться со взглядом Дениса. Тонкие, бескровные губы что-то беззвучно шептали.

– Господин… господин мичман? – проскрипел он едва слышно, заламывая узловатые, трясущиеся пальцы. – Простите великодушно, что беспокою в столь поздний час… Меня… меня Варлаамом звать. Отец Варлаам… я слыхал… то есть мне сказали… будто вы человек ученый и интересуетесь… книгами.

Денис почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он жестом пригласил старика войти и сесть на табурет.

– Садитесь, отец Варлаам. Чем могу служить?

Старик, не садясь, сделал несколько шагов вперед и снова забеспокоился.

– Дверь-то… можно притворить?

Денис молча встал и задвинул дверную щеколду. Этот звук, казалось, немного успокоил гостя. Он опустился на табурет, его ряса, пахнущая пылью, ладаном и старостью, бессильно обвисла вокруг него.

– Меня донимает один аглицкий господин, – выпалил он, наконец, и в его глазах блеснул настоящий ужас. – Он… он уже бывал в наших краях. И скоро вновь появится. Роберт Фламанд. Раньше он требовал доступа к нашим… к тем книгам, что хранятся у братии в скитах. К трактатам герметическим, алхимическим… Я, по глупости своей, думал в прошлый его приезд откупиться – отдал ему список, копию труда Раймунда Луллиева, «Великое Искусство»… Думал, отстанет. Не отстал! Он сказал, что это только начало. Что я должен помочь ему найти нечто здесь, в России. Некое… свидетельство. Знамение. А я не понимаю его речей! Он страшен в своем спокойствии… Я боюсь, господин мичман! Боюсь, что этот колдун меня погубит, а душу мою и вовсе в ад ввергнет!

Денис внимательно наблюдал за ним, оценивая степень его искренности.

– Успокойтесь, отец. Что именно он ищет? О каком «знамении» говорит?

– Не знаю я! Клянусь всеми святыми! – старик почти взвизгнул, хватая Дениса за рукав. – Он говорил о «первооснове всего сущего», о «философическом камне», который не только металлы претворяет, но и души… Но в словах его не было жажды познания Божьих тайн! Нет! Был холод. Холодный, как лед, расчет. Он говорил… – Варлаам замер, переводя дух. – Говорил, что Россия, словно неразумное дитя, играет с огнем, зажженным Петром, не ведая, что тот может спалить её дотла. И что он, Фламанд, явился, чтобы указать ей истинный путь. Его путь. Он называл это «миссией просвещения». Но от этого слова, сударь, мороз по коже…

Старик вытащил из-за пазухи, из глубины своей убогой одежды, смятый, пожелтевший листок бумаги, исписанный мелким, дрожащим почерком.

– Вот… я, пока переписывал для него Луллилия, сей листок для себя скопировал. Сам не вполне разумею, но… показалось, что сии слова неспроста. Может, вам, как человеку образованному, окажутся полезны.

Денис взял листок. Бумага была тонкой, почти прозрачной, чернила – самодельными, буроватыми. Он поднес его к свече и прочел вслух, медленно, вникая в каждый слог:

«…И камень философов, коий претворяет металлы в злато, в руках профана обращается в яд лютейший, ибо сила его есть сила претворения, и доброе в злое претворить может токмо невежество, а истинное знание есть свет, разгоняющий тьму непонимания…»

Он поднял глаза на монаха. Тот сидел, сгорбившись, ожидая приговора.

– Большое вам спасибо, отец Варлаам, – сказал Денис серьезно. – Вы оказали нам большую услугу. Теперь слушайте меня внимательно. Вы должны вести себя так, будто ничего не произошло. Если Фламанд снова обратится к вам, старайтесь тянуть время, ссылайтесь на трудность поисков, на недоверие братии. Но не отказывайте ему резко. И, ради всего святого, будьте осторожны. Понимаете?

Монах закивал с такой готовностью, что, казалось, вот-вот отвалится его голова.

– Понимаю, понимаю… Спаси вас Господи… Я буду остерегаться…

Денис проводил его до двери, выглянул в сени, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, и пропустил старика в ноч-

ную темноту. Вернувшись к столу, он снова взял в руки листок с цитатой и положил его рядом с рисунком браслета и схемой магического квадрата. Слова «обращается в яд лютейший» горели в его сознании. Он смотрел на эти три предмета, лежащие бок о бок, и чувствовал, как кусочки мозаики начинают сходиться, образуя пока еще неясную, но пугающую картину. Возможно, браслет был не просто ключом к шифру. А он был и орудием, и символом. Орудием, которое могло нести смерть. И символом некоего «претворения», о котором говорили алхимики. Но какое претворение замышляли Фламанд и те, кто стоял за его спиной? И главное – кто в России жаждал этого претворения? Ответа у него не было. Было лишь тихое, леденящее предчувствие, что эта игра только начинается, и ставки в ней неизмеримо выше, чем просто его собственная жизнь.

Глава 7

Хлеба не было уже вторые сутки. Михайло Ломоносов прижимал ладонь к подреберью, стараясь заглушить ноющую пустоту, и выводил гусиным пером четкие буквы на последнем листе бумаги. В Спасских казармах, где ютились студенты Славяно-греко-латинской академии, стоял густой запах немытых тел, дешевой глиняной махры и мышиного помета. Но для него этот запах был ароматом свободы. Михайло вспоминал о тех испытаниях, которые пережил Калмыков. Та удивительная история помогала ему в тяжёлые дни. Здесь, в Москве, он дышал не морозным воздухом Поморья, а пылью древних фолиантов. А голод был платой, которую он приносил легче, вспоминая о том, что выпало на долю Дениса Спиридоновича в его жизни.

«…и тако, государь батюшка, – выводил Михайло, обращаясь к отцу, которого не видел уже четыре года, – не сумневайтесь о моем содержании. Иждивение мое состоит в трех алтынах, на которые я не токмо пропитание, но и на бумагу, обувь и прочие нужды имею. Науки же суть бесценная пища, коей я пресыщаюсь всякий день…»

Он замер, перо застыло над чернильницей. Как объяснить

человеку, чья жизнь измеряется промыслом и налимьими тонями, что есть голод иной, неутолимый? Что можно продать последний полушубок не на хлеб, а на книги? Как рассказать про ночи у краденой сальной свечи, когда мир сжимался до строчки на непонятном языке, который надо было покорить, вырвать у него тайну? Он не писал отцу главного: что здесь, среди этой нищеты и зубрежки, он нашел врага. Враг был невидим, но ощутим в каждом снисходительном взгляде учителя-иезуита, в каждом латинском тексте, где Ruthenia, Русь изображалась белым пятном на карте цивилизации.

«Цель моя, – писал он, уже не столько отцу, сколько самому себе, – не токмо вникнуть во все науки, но и обрести голос. Дабы когда-нибудь истину о нашем Отечестве, ныне замкнутую в чужих устах, извлечь оттуда и вложить в уста собственные. Ибо не может народ, не помнящий родства, идти вперед. Сие и есть моя ловля, моя охота».

Через год это упорство, похожее на ярость, принесло плод. Его, одного из двенадцати лучших, отобрали для перевода в Петербург, в Академию Наук. Дорога на перекладных казалась ему путем в обетованную землю. Он представлял себе дворец мудрости, где в тиши библиотек, среди глобусов и телескопов, рождается знание. Он верил в Петровскую мечту.

Реальность встретила его гранитной мостовой и ледяным равнодушием швейцара у дверей академического здания на Васильевском острове.

Его восторг длился ровно до первой лекции. Библиотека и Кунсткамера потрясли его до глубины души. Он бродил среди заспиртованных уродцев и диковинных машин, трогал холодное стекло витрин, чувствуя биение того же любопытства, что гнало его из Холмогор. Но люди, населявшие этот храм науки, оказались иными. Академия говорила по-немецки. Звучный, отрывистый, уверенный язык был языком приказа, дискуссии, власти. Русская речь звучала в коридорах робко: это перешептывались сторожа, переписчики, истопники. Русские лица были лицами слуг. Ученые мужи – профессора Миллер, Штелин, Фишер – важной процессией проходили мимо, не замечая его, долговязого «студента из московских». Их разговоры, долетавшие обрывками, повергали его в ступор.

«…совершенно дикий народ, без государственной идеи до прихода Рюрика…»

«…славянская мифология примитивна и не стоит серьезного изучения…»

«…задача – привить европейскую методологию на эту девственную, но бесплодную почву…»

Они говорили о его Родине, о его предках, как энтомологи о редком виде жуков – с холодным, аналитическим презрением. Им и в голову не приходило, что плебей в поношенном кафтане может понять их речь. Но Михайло уже понимал. И каждое слово падало в душу, как капля кислоты.

Кульминацией стал открытый исторический семинар профессора Герхарда Миллера. Аудитория была полна: аккуратные парики немцев-академиков, любопытные взоры редких русских дворян. Ломоносов втиснулся в угол, на стоячее место у печки.

Миллер, элегантный и невозмутимый, с безупречной дикцией излагал основы русской истории. Вернее, ту её версию, что уже принималась здесь за аксиому. Он говорил о славянах как о племенах, погрязших в междоусобицах и не способных к самоорганизации. О том, что только «добровольное призвание» варягов-скандинавов, этих носителей высшей государственной культуры, вывело их из исторического небытия. «Норманнская теория» звучала не как гипотеза, а как стройная, логичная, единственно возможная истина. Картина была ясна и унизительна: Россия родилась не сама, её зародили просвещенные европейцы. Весь её дальнейший путь был лишь долгим, трудным усвоением этого благого дара.

Ломоносов слушал, и костяшки его пальцев, впившихся в грубую штукатурку стены, побелели. В ушах стоял гул. Он видел не умиротворенные лица слушателей, а образы из его собственных, жадно прочитанных летописей: Новгород, Киев, послы, отправляющиеся за море не за господами, а за князем-наемником, рядовым правителем для уже существующего государства. Он вспоминал труды Татищева, с которыми тайком знакомился в Москве.

И тогда случилось то, чего он сам от себя не ожидал. Когда Миллер, завершая лекцию, снисходительно улыбнулся и спросил: «Есть ли вопросы к материалу?» – в наступившей тишине раздался хриплый, сдавленный голос с акцентом.

– Есть, господин профессор.

Все головы повернулись к углу у печки. Миллер, приподняв бровь, увидел высокого, нескладного юношу в бедном платье.

– Вопрос студентам всегда рад. Ваше имя?

– Ломоносов. Михайло Ломоносов. Он сделал шаг вперед, чувствуя, как жар сотен глаз прожигает его кожу. – Вы изволили утверждать, сударь, что славяне не имели понятия о государственности до призвания варягов. На каких первоисточниках основано сие заключение?

В зале прошелестело удивление. Студент осмелился не просить разъяснений, а ставить под сомнение тезис.

– На критическом анализе всех доступных источников, молодой человек, – холодно ответил Миллер. – Прежде всего, на Повести временных лет.

– Так я и думал, – голос Ломоносова набрал силу, он уже не мог остановиться. – Читал я сию летопись. Там сказано: «Поищем собе князя, иже бы володел нами и судил по праву». Искали рядового правителя, на уже имеющуюся должность. Не государей. Не строителей. В Новгороде уже были посадники, было вече, был порядок. Призвали управленца, как ныне разумно приглашают инженера или архитектора. Откуда же вывод о полной дикости и неспособности?

Тишина стала гробовой. Миллер медленно побагровел. Его безупречный научный аппарат дал сбой: его оспаривали не на языке методологии, а на языке простого, буквального прочтения текста, которое он счел недостойным внимания.

– Ваше прочтение… поверхностно, – отчеканил он, и в его голосе впервые появилась сталь. – Вы упускаете контекст эпохи, сравнительный анализ с европейскими хрониками. Критический метод, юноша, – это не простое чтение. Это –

школа. Европейская школа, которой вам, к сожалению, пока недостает. Рекомендую сосредоточиться на изучении языков и основ, прежде чем бросать вызов устоявшимся научным парадигмам.

Удар был точен и беспощаден. Он даже не опровергал аргументы. Он просто указал Ломоносову его место: невежественного выскочки с периферии науки. В глазах аудитории – смесь любопытства и презрения. Михайло почувствовал, как горит все его лицо. Он не нашелся, что ответить. Он просто стоял, сжав кулаки, пока семинар не закончился и люди не стали расходиться, бросая на него любопытные взгляды.

К нему подошел Яков Штелин, адъюнкт по искусству, человек не злой, но глубоко конформистский.

– Михайло, – сказал он по-русски, тихо, с легким укором. – Твой пыл делает тебе честь. Но наука – она как служба. Есть начальство. Есть субординация. Профессор Миллер – столп исторической школы здесь. Твоя задача сейчас – учиться. Впитывать их метод. А не… бросаться с кулаками на ветряные мельницы.

– Это не ветряные мельницы, – хрипло ответил Ломоносов. – Это… переписывание корней. Чтобы дерево думало, что выросло из чужого семени.

Штелин вздохнул, как взрослый, уставший от упрямства ребенка. «Запомни: здесь прав не тот, кто прав. А тот, у кого больше прав. А право дают степень из Лейпцига, публикация в «Комментариях», протекция. У тебя этого нет. Ищи не истину, а покровителей. Иначе…» Он не договорил, лишь выразительно покачал головой и удалился.

Ломоносов не пошел на ужин. Он бесцельно бродил по холодным, тёмным набережным Невы. Ветер с залива бил в лицо, но не мог охладить внутреннего пожара. Унижение смешивалось с ясным, ледяным пониманием. Врага он нашел. Он сидел не во дворце, не в кабаке, не на корабле. Он воссе-

дал в академическом кресле. Его оружием было не кинжал и не яд, а изящная, отточенная фраза, сноска в диссертации, редактура летописи. Этот яд не убивал тело. Он убивал память. Он отравлял будущее, лишая его опоры в прошлом.

И тогда, глядя на черную воду, в которой отражались редкие огни, он вновь вспомнил. Вспомнил рассказ, услышанный четыре года назад в Кронштадте, от уставшего морского офицера с умными, печальными глазами. Вспомнил историю браслета «Девять глаз Ибиса».

Как поразительна была параллель! Петр Великий, жаждущий пользы, как и он, Ломоносов, жаждущий знаний, принимал дары от иностранцев. Браслет был диковинкой. Якобы жестом дружбы от английского алхимика. Но внутри таился смертельный механизм со смертельно опасными последствиями. Точно так же Миллер и его коллеги были «дарами» для России, европейскими учеными, призванными создать науку. Но внутри их учености, внутри их «критического метода» таился иной механизм – механизм духовного отравления, внушения мысли о второсортности, об исторической несостоятельности его народа.

Денис Калмыков рискнул всем, чтобы найти и обезвредить материальный артефакт…

– А кто спасет душу? – прошептал Ломоносов ветру. – Кто

вынет яд из самой Истории?

Ответ пришел сам собой, суровый и неотвратимый. Только тот, кто знает сей яд в лицо. Кто изучит его формулу до последней буквы. Кто станет не просто русским ученым, но ученым, которого немцы не смогут обвинить в невежестве. Ему нужно было овладеть их оружием, чтобы обратить его против них. Немецкой методологией, немецкой педантичностью, немецкой ученостью – и поставить всё это на службу своей стране.

Он повернулся и пошел прочь от реки, обратно к академическим зданиям. Походка его была твердой. Глаза, ещё недавно влажные от стыда, теперь горели холодным, решительным огнем. Он больше не был просто голодным студентом из Холмогор. Он был солдатом, принявшим присягу в невидимой войне. Войне за память. Войне, которую начал до него, в своем времени и своим способом Денис Калмыков. И он, Михайло Ломоносов, давал себе слово эту войну не проиграть.

С этого дня его учеба приобрела новое, яростное качество. Он не просто впитывал знания. Он изучал врага. Он начал тайно, по ночам, собирать свою коллекцию – не диковинок, а доказательств. Выписки из летописей, противоречащие Миллеру. Заметки о славянских городищах, о тор-

говых путях, существовавших до Рюрика. Это был его будущий архив. Его противоядие. Первый камень в фундамент той истории России, которую еще предстояло написать. Не этими господами. А им!

Глава 8

Денису Спиридоновичу часто снился один и тот же сон. Его давнее проклятье. Первым в сознание возвращалось ощущение боли. Но это была уже не та острая, раздирающая агония, что рвала тело на куски. Во сне боль была глухая, всеобъемлющая, гудящая в каждой кости, каждом сухожилии, в самой глубине черепа. Боль, ставшая новой, ужасной нормой существования. Он лежал лицом вниз на холодных, шершавых каменных плитах, чувствуя их леденящий холод щекой. Стылый камень был липким от чего-то – от его же пота, слюны, крови. Двигаться он не мог. Тело не слушалось, оно было разбито на тысячу частей и собрано обратно небрежной, злой рукой.

Затем до него донеслись звуки. Скрип чьих-то шагов – не тяжелый, грубый топот палачей, а более легкий, размеренный шаг. Приглушенный говор. Он не мог разобрать слов, голос был знакомым, но в его помутневшем сознании он не находил опознавательных знаков. Потом шаги приблизились и затихли где-то совсем рядом.

– Поднять его. Посадить.

Голос был спокойным, властным, лишенным той театральной жестокости, что была у следователя, и обыденной грубости служителей. В нем звучала привычка командовать, но не терзать. Денис почувствовал, как чьи-то сильные руки – не слишком небрежно, но и без тени жалости – впиваются ему под мышки и грубо поднимают с пола. Ноги, как плети, волочились по камню. Его посадили на табурет, что всегда стоял в углу комнаты для пыток, и прислонили спиной к холодной, влажной стене. Голова бессильно откинулась назад, и он уставился в закопченный сводчатый потолок, где в темных углах вилась паутина.

– Очнулся, калмык?

Тот же голос. Теперь Денис узнал его. Узнал, и новая, леденящая волна страха, смешанного с дикой, невероятной надеждой, пронзила его сквозь туман боли. Он медленно, с неимоверным усилием опустил подбородок и повел глазами.

Перед ним, в двух шагах, стоял сам царь. Петр Алексеевич. Он был в том же простом темно-зеленом мундире Преображенского полка, в котором Денис видел его на ассамблее в Летнем саду. Государь стоял, чуть склонив голову набок, заложив большие руки за спину. Его лицо, освещенное колеблющимся светом двух свечей в настенных подсвечниках, казалось усталым и сосредоточенным. Но в глазах, пронзи-

тельных, всевидящих глазах, не было ни гнева, ни ярости. В них горел холодный, аналитический огонь, такой же, каким он, должно быть, разглядывал неисправный механизм или изучал чертеж нового корабля.

– Го… сударь… —хрипел Денис во сне. Его гортань, разорванная криками, отказывалась служить, выдавая лишь хриплое, беззвучное шипение. Губы, потрескавшиеся и распухшие, не слушались.

Пётр не сделал никакого жеста, лишь слегка поднял бровь. Один из двух дюжих служителей, стоявших теперь навытяжку у двери, словно по незримому приказу шагнул вперед, взял с края стола деревянный ковш, зачерпнул воду из медного таза, стоявшего в углу, и поднес его к губам Дениса.

Денис пил. Сначала жадно, судорожно, давясь и обливаясь, потом, собрав остатки воли, медленнее, ощущая, как прохладная, отдававшая железом вода смывает со рта соленый привкус крови и возвращает ему хоть какое-то подобие человеческих ощущений. С каждым глотком боль в теле, до того приглушенная шоком, проявлялась все яснее и четче, но вместе с ней возвращалось и сознание, способность мыслить, пусть и сквозь густую пелену страдания.

Пётр наблюдал за этим, не отрываясь. Когда Денис отпил,

царь сделал едва заметное движение подбородком, и служитель отошел на прежнее место.

– Ты настаиваешь, что невиновен, – произнес Пётр ровным голосом, не спрашивая, а констатируя. – Каждый второй, кто попадает в эти стены, настаивает на том же. Но я помню тебя, Калмыков. Помню тот экзамен. Когда ты, слуга, подсказывал барину, Максимке Спафариеву. И когда тебя выдернули вперед, ты ответил на все мои вопросы без единой запинки. О дифференциальном исчислении. О тригонометрических таблицах. О проклятой магнитной аномалии у Новой Земли!

Денис молчал, не понимая, к чему ведет государь. Воспоминание об экзамене, о той давней, почти забытой победе, казалось сейчас чем-то нереальным, происшедшим с другим человеком в другой жизни.

– Знаешь, что я ненавижу пуще смертного греха? – Петр медленно прошелся по комнате, его тень, громадная и угловатая, металась по стенам, ложась на тёмные дубовые брусья дыбы, на свернутые кольцами веревки, на железные крючья. – Бесполезность. Бестолковость. Тупость! Когда человек, имеющий две руки и голову, не может или не хочет научиться чему-то стоящему. И ещё… – он резко обернулся, и его взгляд снова впился в Дениса, – я терпеть не могу, когда

меня держат за дурака. Ты думаешь, я поверю, что человек, в чьей голове свободно уживаются логарифмы, интегралы и проекции меркаторской сетки, способен на такое… примитивное, деревенское злодейство? На подброс отравленной безделушки, будто он ведьмак из глухой деревни? Это слишком глупо. Слишком на виду. Слишком… очевидно.

Он подходил всё ближе, и Денис увидел в его глазах не гнев, а скорее досаду и холодную ярость, направленную не на него, а на кого-то другого, невидимого.

– Нет. Здешние методы хороши для стрельцов и мелких воришек. Здесь же что-то иное. Через тебя хотят ударить. Меня хотят в чем-то убедить. Напугать. Или, что вероятнее, отвлечь от чего-то более важного. Главный вопрос – кто? И следующий – зачем?

Пётр остановился прямо перед ним, так близко, что Денис почувствовал запах, исходивший от него – смесь дорогого голландского табака, свежего дерева, пота и чего-то металлического, оружейного. Царь наклонился, и его лицо оказалось на одном уровне с лицом Дениса.

– Я задам тебе три вопроса. Смотри же. Если соврешь – я сам, без палачей, сверну тебе башку. Если скажешь правду… возможно, ты еще будешь мне полезен. Понял?

Денис, собрав все силы, кивнул. Движение отозвалось огненной болью в шее и плечах.

– Первый, – голос Петра стал тише, но оттого еще весомее. – Ты занимался колдовством? Наводил порчу, читал заговоры, знался с нечистой силой, чтобы погубить княжну Кантемир?

Вопрос, заданный так прямо, без околичностей, прозвучал почти нелепо. Денис заставил свои опухшие губы шевельнуться.

– Нет, государь. Никогда. Я… я в Бога верую. И в науку. Я не знаю, как это делается. Да и не верил никогда.

Он смотрел прямо в глаза Петру, и, казалось, тот ищет в его взгляде малейшую тень лжи. Через несколько томительных секунд царь медленно выпрямился.

– Хорошо. Второй. Ты знал, что браслет, который ты передал через Меншикова, отравлен? Или что он несущим зло, заговоренным, «сглаженным» считается?

– Нет, государь. Клянусь. Для меня он был… просто диковиной. Старой, красивой, дорогой. Как экспонат для Кунст-

камеры. Я подумал… – Денис сглотнул, – подумал, я надеялся, что такая редкость может понравиться вашему величеству как коллекционеру. Больше ничего.

– Любопытство коллекционера, – пробормотал Пётр, и в его голосе прозвучала едва уловимая, горькая ирония. – Из-за которого гибнут люди. Ладно. Теперь последний вопрос. И отвечай не как узник, а как мичман, возвратившийся из Англии. Ошибка в определении местоположения при плавании от мыса Нордкап к Архангельску, если следовать старой голландской лоции Ван Кейлена. В чём её причина и как ее исправить на практике?

Допрос принял совершенно неожиданный оборот. Вопрос о навигации, заданный здесь, в застенке, среди орудий пыток, прозвучал так же абсурдно, как если бы среди ассамблеи в Летнем саду кто-то начал бы пытать гостя на дыбе. Мозг Дениса, забитый страхом и болью, на миг застыл в полном недоумении. Он уставился на Петра, не веря своим ушам. Потом, медленно, как скрипящие жернова, в его сознании начали шевелиться цифры, карты, формулы. Это знание было вбито в него годами учебы и практики, оно лежало глубже боли, глубже страха, было частью самого его существа. Он заговорил, сначала неуверенно, с паузами, подбирая слова сквозь разбитые губы.

– Там… там ошибок несколько, государь. Во-первых, голландцы берут за основу магнитное склонение образца… кажется, 1690 года. Но оно изменилось. Немного, но для точной навигации у берега… критично. Во-вторых, в их лоции не учтена локальная аномалия у Терского берега… в районе Семи Островов. Магнитная стрелка там ведет себя… капризно. Это залежи… железной руды, что ли, на дне. Или породы на побережье. Точной причины я не знаю, но эмпирически… должно вводить поправку.

Он замолчал, переводя дух. Пётр стоял недвижимо, не прерывая его.

– Да, нужно, – продолжил Денис, уже увереннее, – нужно вводить поправку. При плавании в пределах видимости Терского берега на первые… десять миль от него, отнимать от показаний компаса полградуса. А после мыса Святой Нос, при подходе к горлу Белого моря… там и течение сильнее, и донные отложения иные. Там поправка другая. Минус три четверти градуса. Иначе вынесет на мель у Никольского устья или собьешься с фарватера к Мудьюгу.

Он выдохнул и снова откинул голову на стену, чувствуя, как от этого неожиданного умственного напряжения в висках застучало с новой силой. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием свечей. Пётр по-прежнему

не двигался, его лицо оставалось каменной маской. Прошла целая вечность. Денис во сне уже начал думать, что всё это – галлюцинация, порождение бреда и боли. Изматывающей его боли.

Наконец государь повернулся. Не к Денису, а к какому-то другому человеку в маске, который всё это время стоял в тени у двери, подобострастно сложив руки на животе. Это был не писарь Тайной канцелярии, и не сухопарый следователь. В позе и взгляде этого человека Денис видел лишь почтительный, подобострастный страх.

– Андрей Иванович, – раздался спокойный голос Петра. – Вы слышали?

– Так точно, ваше императорское величество, – тотчас откликнулся человек в маске, делая шаг вперед и склоняясь в низком поклоне.

– Этот мичман невиновен в том, в чем его обвиняют, – Пётр говорил четко, отчеканивая каждое слово, как указ. – Его сознание работает в категориях математики, механики и навигации. Он мыслит, как инженер, как штурман. Не как колдун и не как отравитель. Он был использован. Он – пешка, которую вывели на поле. А мне… – царь снова обернулся, и его взгляд, тяжелый и пронзительный, упал на Дениса. В глубине его глаз вспыхнула знакомая, хищная, почти

радостная искра человека, нашедшего, наконец, нужный инструмент для сложной работы. – А мне сейчас как раз требуется такая пешка. Которая, при должном руководстве, может превратиться в ладью.

Он снова обратился к человеку в маске, и голос его стал властным, повелительным.

– Немедленно прекратить все допросы!

– Так точно, ваше величество! Сию минуту все будет исполнено! – все засуетились, а человек в маске растворился в воздухе, кланяясь.

Пётр в последний раз окинул взглядом Дениса, лежащего на табурете, полуживого. В его взгляде не было ни жалости, ни сострадания. Было лишь холодное, деловое удовлетворение от того, что нужная деталь найдена.

– Жди, Калмыков, – бросил он на прощание и, не дожидаясь ответа, резко развернулся и тяжелыми, уверенными шагами вышел из камеры. Его гулкие шаги постепенно затихли в коридоре. Остался только шум в ушах от ударов сердца в груди.

Боль, унижение, страх – все еще никуда не делось. Но над этим всем теперь висело одно-единственное, невероятное

слово, произнесенное царем: «невиновен». И другое, еще более невероятное: «полезен».

Проснувшись, Денис ещё долго лежал, пытаясь выгнать из своих мыслей отголоски сна, утирая пот с лица.

Глава 9

А наяву та встреча Калмыкова с царём была короче и прозаичнее. После неё действительно была неделя тишины, горячей пищи, редких мазей на раны и долгого отдыха в маленькой, чистой, но все равно похожей на каземат комнатке в одном из флигелей здания Тайной канцелярии. Окно в ней было настоящее, с запотевшими стеклами, и через него Денис мог видеть кусочек грязной петербургской улицы, по которой сновали извозчики и солдаты. Служители теперь обращались с ним не как с узником, а как с неудобным, но важным постояльцем – молчаливо, без угроз, принося еду и унося ночной горшок.

Он не знал, что происходило снаружи, но чувствовал – Петровская машина провернулась. Его не допрашивали, не пугали. Ему дали время. И за это время тело, молодое и крепкое, начало понемногу затягивать раны, а разум – потихоньку выходить из состояния ошеломленного ужаса. Боль стала привычным, глухим фоном, и на первый план вышло иное – ледяное, ясное осознание своего положения и тревожное ожидание того, что последует за царским «полезен».

В назначенный день и час к нему вошли два служителя в

серых кафтанах.

– Собирайтесь. Вас ждут.

Ему вернули его старый морской мундир, но не тот, в котором арестовывали, а другой, поношенный, но чистый и выглаженный. На лице еще синели и желтели следы побоев, но теперь он мог ходить без посторонней помощи, но каждое движение отдавалось ноющей ломотой в суставах. Его провели окружным путём, минуя главный вход, через боковую калитку, где во дворе, запряженная парой некрупных, но крепких лошадей, стояла закрытая карета без гербов. Калмыкова усадили внутрь, и карета тронулась, мягко покачиваясь на неровностях.

Они ехали недолго. Вскоре карета остановилась, дверцу открыли, и Денис, выйдя, очутился в небольшом, замкнутом дворике, вымощенном булыжником. Перед ним был не парадный фасад, а скромный боковой вход в невысокое каменное здание – один из флигелей Летнего дворца, петровской резиденции в саду, еще не успевшей обрасти пышностью более поздних времен. Дверь открыл пожилой слуга в простой ливрее, молча кивнувший следовать за ним. Дениса провели по узким, чистым, пахнущим воском и свежей хвоей коридорам. Они остановились перед дверью из темного дуба.

Слуга постучал, приоткрыл дверь и отступил в сторону.

– Войдите.

Денис переступил порог. Комната, в которую он вошел, была невелика и поражала своей аскетичностью, почти монашеской простотой. Здесь не было ни золоченой лепнины, ни роскошных гобеленов, ни блеска паркета. Пол был устлан простыми дубовыми плахами, темными от времени. Стены, выкрашенные темно-зеленой краской, были сплошь заставлены шкафами и полками из некрашеного дерева, доверху забитыми книгами в кожаных переплетах, рулонами карт, ящиками с инструментами. Посреди комнаты стоял огромный, грубо сколоченный письменный стол, похожий на верстак. Он был завален бумагами государственной важности, чертежами кораблей, механическими моделями, циркулями, кронциркулями, разобранными часами, образцами пород дерева и металлов. В воздухе витал сложный букет запахов: восковой политуры, стружки, старой бумаги, крепкого табака и щелочного мыла. Это был не тронный зал императора, а мастерская, кабинет пытливого инженера-самоучки, одержимого знанием.

Пётр стоял спиной у высокого окна, глядя на туманную панораму Невы и противоположного берега, где высились леса и уже виднелись стены строящегося огромного здания – будущего монастыря. Он был в простой холщовой рубахе навыпуск и поношенных бархатных шароварах, на ногах –

стоптанные туфли. Руки, заложенные за спину, были напряжены. Царь казался погруженным в тяжелые думы.

Услышав шаги, он не обернулся, лишь слегка повернул голову.

– Ну что, калмык, – раздался его громоподобный, узнаваемый голос. – Отошел от гостеприимства моих слуг из Тайного приказа?

– Отошел, государь, – тихо, но четко ответил Денис, останавливаясь посреди комнаты.

– Хорошо. Присаживайся. Стоять-то, поди, еще нелегко.

Денис, с трудом превозмогая скованность в ногах, опустился на краешек простого дубового стула у стола. Тело, казалось, заныло с новой силой, напоминая о каждой перенесенной пытке.

Пётр, наконец, оторвался от созерцания стройки и повернулся к нему. Лицо государя было усталым, осунувшимся, с глубокими тенями под глазами, но в его позе и взгляде чувствовалась недюжинная, собранная в кулак воля, та самая, что могла двигать горы и ломать хребты непокорным.

– Понял теперь, калмык, какова цена простодушия в на-

шей жизни? – спросил он, подходя к столу и опираясь на него руками. – Одного подарка, одной доверчивости хватило, чтобы тебя чуть не сожрали как вора и колдуна. А меня – чтобы едва не лишить толкового моряка, в котором флот нуждается.

– Понял, государь, – ответил Денис, глядя в пол.

– Я так не думаю, – отрезал Петр. – Пока не понял до конца. Но поймешь. На своей шкуре. Ты получил дорогой урок. Заплатил за него кровью, болью и унижением. Теперь пришло время этот горький урок обратить в пользу. России. И мне лично.

Он потянулся к одному из ящиков стола, открыл его и вынул оттуда предмет, завернутый в кусок мягкого зеленого сукна. Развернув ткань, он положил его перед Денисом на стол с глухим, металлическим стуком.

«Девять глаз Ибиса». Серебряный браслет лежал на столешнице, и в свете дня, лившемся из окна, он казался менее зловещим, но оттого еще более странным и чуждым в этой простой, рабочей обстановке. Тёмно-зелёные камни впитывали свет, а не отражали его, и причудливая оправа из тусклого серебра отливала серым цветом старого свинца.

– Вот он. Источник твоих бед. И, возможно, ключ к чу-

жим, очень темным замыслам, – произнес Петр, не сводя глаз с браслета. – Я приказал осмотреть его. Лучшим лекарям из Аптекарского приказа, немцу Блументросту и нашему, русскому, Термену. Они разбирали его, капали кислотой, выпаривали, нагревали. Яда – нет. Ни на поверхности, ни в полостях камней, ни в самом металле. По крайней мере, того яда, что знаем мы с нашими склянками и ретортами. Княжна Кантемир умерла от чего-то иного. Быстро и страшно.

– Но… как же? – не удержался Денис.

– Как? Не знаю. Может, яд был в чем-то другом. Или он уже испарился. Может, она и вправду просто заболела, и браслет тут ни при чем, а всё это совпадение. Но… – Петр выдержал паузу, достал из другого ящика сложенный лист бумаги и развернул его перед Денисом. – Но при ней была найдена эта записка. Вот её точная копия.

Денис наклонился. Письмо, В углу его на бумаге были изображены странные символы, о которых он слышал от следователя и о которых потом грезил в бреду. Но значки были не похожи ни на буквы кириллицы или латиницы, ни на арабскую вязь. Это были геометрические фигуры: треугольники, точки внутри кругов, кресты с изогнутыми концами, зигзагообразные линии. Они были аккуратно расположены в три строки по три символа. Девять знаков.

Сердце Дениса забилось с такой силой, что боль в груди напомнила о себе. Три строки. Три столбца. Девять символов. Идеальное соответствие.

Царь отошел к окну, снова вглядываясь вдаль, словно в очертаниях будущих зданий искал контуры невидимого противника.

– Меншиков, – произнес он, не оборачиваясь, – по-прежнему лопочет про египетского владетеля и про покровительство. Ложь. Он, как курский воробей, всегда ищет, чем бы блеснуть и как бы свои делишки прикрыть. Но за этой ложью… за ней может стоять нечто большее, чем просто желание урвать. Английский алхимик… – Петр произнес эти слова с нескрываемым, ледяным презрением. – Шарлатаны. Фокусники. Но иногда за фокусами скрывается не дым, а настоящий огонь. И на сей раз, похоже, они решили погреться у нашего очага, да так, чтобы сам очаг погасить.

Царь резко обернулся, и его взгляд, холодный и неумолимый, снова впился в Дениса.

– Скажи ещё раз мне. Как на духу! Не думаешь ли, что за всем стоит сын мой, Алексей Петрович? – Пётр передернул плечами и добавил столь забористое ругательство, что у Калмыкова перехватило дыхание.

Петр Алексеевич знал цену крепкому слову. Самый длинный, воистину эпический матерный русский перебор не зря называется "Большим Петровским загибом". Все знали, что когда государь гневается, то может выдать такую тираду.

– Нет, государь. – Оправившись от услышанного, ответил Денис. – В отношении цесаревича нет никаких оснований…

– Ладно, забудь. Вот твое задание, мичман Калмыков. Когда велю, выедешь обратно в Архангельск. Вернешься на свою службу. Будешь ходить на боте, делать все, как делал. Но твоя настоящая служба, служба передо мной и Россией. Ты выяснишь всё, что только возможно, об этом Фламанде. По моим сведениям он прибудет в Архангельск с торговым судном. Будь внимателен. Разузнай всё аккуратно. С кем он знается из наших чинов? Чего ищет в моих северных владениях? Какой груз сопровождает? И главное, – Пётр сделал ударение на последних словах, – кто ему помогает здесь, на русской земле? Браслет тебе подбросили не просто так. Похоже, он знал, что ты передашь его именно ко двору, Меншикову. Кто-то здесь, в Петербурге или там, у вас в порту, ведёт свою партию. Найди эту нить!

Денис слушал, и знакомый, леденящий холод снова начал сковывать его изнутри. Но на сей раз это был не страх физи-

ческой боли. Это был страх иного рода – тяжелой, невыносимой ответственности, страшной тайны, в которую он теперь был посвящен и которую должен был раскрыть.

– Государь… я… я всего лишь мичман, штурман, – попытался он возразить, чувствуя всю нелепость своих слов. – Я не сыщик, не агент. Я не умею этого делать.

– Ты – умный и живучий калмык, который сумел не сломаться даже в застенке, – жестко, без колебаний прервал его Пётр. – Ты знаешь языки: английский, голландский, латынь. Ты знаешь морское дело, а значит, знаешь и порт, и всех, кто в нем крутится. И у тебя, – царь ткнул себя указательным пальцем в висок, – здесь не пусто. А сейчас появилось кое-что поважнее любых чинов и связей при дворе. – Он снова ткнул пальцем, теперь ему в грудь. – Мое доверие. И моя воля. Ты будешь моими глазами и ушами там, куда не дотянутся руки моих генерал-полицмейстеров и фискалов. Ты будешь моей тайной. Молчаливой, невидимой и верной. А сейчас пройдешь обучение при Тайной канцелярии. Будешь слушать и запоминать всё, что тебе скажут. Столько, сколько надо.

– Так точно, государь!

– В Архангельске будешь смотреть зело внимательно и применять всё то, чему сейчас обучат. Ясно?

Денис поднял голову и встретился с его взглядом. В глазах Петра не было ни просьбы, ни прощения. Была только железная, не знающая сомнений решимость человека, привыкшего, чтобы его приказы исполнялись. И впервые за всё это страшное время, сквозь боль и страх, Денис почувствовал в глубине души нечто иное – острый, почти дерзкий вызов. Ему дали шанс. Не просто выжить, а действовать. Не быть жертвой, а стать орудием. Пусть пешкой, но пешкой, которой доверили ход.

– Ясно, государь.

– Хорошо. Завтра приступаешь к обучению. Ни слова. Ни о браслете, ни о наших разговорах. Отчитываться будешь только лично мне, через доверенных людей. Их узнаешь позже. Задание понятно?

– Совершенно понятно, ваше величество.

– Тогда ступай. Служи, калмык, увидим, чего стоишь! И запомни раз и навсегда, Калмыков, – голос Петра внезапно стал тихим, вкрадчивым и невероятно опасным, – если подведёшь меня во второй раз, если окажешься снова слепым или глупым, то дыба в застенке покажется тебе детской колыбелью. Если предашь, хотя бы мыслью… твоя смерть будет долгой, и я найду для неё самые изощренные средства. Но если справишься… если послужишь верой и правдой, то

Россия не забудет. И я не забуду. Ступай!

Денис, превозмогая боль, поднялся со стула, сделал низкий, по-военному четкий поклон и, не поднимая глаз, вышел из кабинета. Он снова шёл по коридорам, но теперь его шаги, хоть и отдававшиеся болью в каждом суставе, были твёрже. В душе бушевал странный, незнакомый вихрь. Ледяной страх от слов, сказанных царем, смешивался с горькой решимостью. Унижение и отчаяние от перенесенных им лютых мучений уступали место проблеску новой, страшной, но своей цели. Он был пешкой, которую только что передвинули с его поля на новое, тёмное и неизведанное. Игра, в которой ставкой была его жизнь, а может, и нечто большее, только начиналась.

Глава 10

Зимний Петербург запомнился Денису Калмыкову не парадными залами, а сырыми, промозглыми коридорами Тайной канцелярии, размещавшейся тогда в одном из флигелей Петропавловской крепости. После краткой, но ошеломляющей аудиенции у самого государя, после того как Пётр бросил ему: «Служи, калмык, увидим, чего стоишь», – Денис ожидал быстрой отправки в Архангельск, навстречу опасностям и, возможно, смерти. Вместо этого его препроводили в низкое каменное строение у крепостной стены, где пахло сыростью, плесенью и ещё чем-то неуловимо противным – то ли чернилами, то ли страхом.

– Здесь и будет твоя академия, мичман, – произнёс человек в неброском тёмном кафтане, позже представившийся как Иван Фёдорович Ромодановский – начальник Тайной канцелярии, чьё имя в городе произносили шёпотом. – Государь велел обучить тебя всему, что может пригодиться в деле, на которое тебя посылают. Дело тонкое, долгое. Агенты наши доносят: англичанин Фламанд, что всучил тебе тот браслет, объявился в Лондоне и там что-то готовит. Раньше чем через полгода его в Архангельске не ждут. Так что у нас есть время. Шесть месяцев. За это время ты должен стать не

просто офицером, а сыщиком, криптографом и лицедеем в одном лице. Понял?

Денис понял. Он уже знал, что Ромодановский был сыном Фёдора Юрьевича, который руководил Преображенским приказом с 1686 года вплоть до самой смерти. Сын продолжил дело отца. И служил государю верой и правдой.

Следующие полгода стали для Дениса Калмыкова временем, которое он впоследствии называл «адом навыворот» – не физическим, а интеллектуальным и психологическим испытанием, где почти каждое утро начиналось с того, что надо было учиться заново.

Первым делом его определили в так называемый «чёрный кабинет» – тайную комнату при Почтамте, где вскрывали и копировали подозрительную корреспонденцию. Здесь его наставником стал пожилой, вечно сопливый немец по фамилии Книппер, который за двадцать лет службы научился разбирать любые почерки и вскрывать любые печати без следов.

– Главное – не спешка, – учил Книппер, водя тонким перочинным ножом под сургучом иностранного письма. – Спешка оставляет крошки. А каждая крошка – улика. Нагревай лезвие над свечой, ровно столько, чтобы сургуч стал мягким, но не потёк. Отклей, прочти, спиши, а потом запе-

чатай заново – той же печатью, тем же сургучом. Никто и не заметит.

Денис просиживал часами, копируя десятки писем, изучая манеру письма разных людей, запоминая характерные завитки и нажимы. К концу второго месяца он мог безошибочно определить, кто писал письмо – купец или дворянин, мужчина или женщина, англичанин или голландец – по одним лишь особенностям почерка.

Параллельно с этим шли занятия по криптографии. Его учителем стал иеромонах Феофан, учёный грек из Славяно-греко-латинской академии, которого специально выписали в Петербург для обучения тайным письменам. Феофан оказался человеком живым, остроумным, с горящими глазами. Фанатик своего дела.

– Шифры, сын мой, бывают простые и сложные, – вещал он, раскладывая перед Денисом свитки с тарабарскими значками. – Простые – это замена букв на цифры или значки. Их любой дурак разгадает, если перехватит. Сложные – это те, где ключ меняется по правилу, известному только отправителю и получателю. Например, «магический квадрат». Я слышал, ты с ним уже столкнулся. – Он прищурился. – Это штука древняя, идёт от арабов. Цифры в квадрате складываются одинаково по горизонтали, вертикали и диагонали.

Но буквы в нём располагаются не просто так, а по особому слову-ключу. Ты должен научиться такие квадраты не только разгадывать, но и самому составлять.

Денис погрузился в мир чисел, таблиц, комбинаций. Он составлял шифры на русском, латыни, немецком, английском. Феофан заставлял его зашифровывать и расшифровывать страницы текста, добиваясь скорости и безошибочности. К концу третьего месяца Денис мог сходу разобрать шифровку средней сложности, а простые «замены» читал как открытый текст.

Но самой тяжёлой оказалась практическая школа сыска под руководством самого Ромодановского. Иван Фёдорович, человек с лицом добродушного провинциального дворянина и глазами удава, брал Дениса с собой на допросы, на наблюдения, на тайные обыски.

– Смотри и запоминай, – говорил он, когда они вдвоём стояли в тёмном углу трактира, наблюдая за подозрительным типом, который, по агентурным сведениям, торговал краденными документами. – Главное в нашем деле – терпение. Человек может таится день, два, неделю. Но рано или поздно он ошибётся. Или кто-то из его окружения ошибётся. Наша задача – быть рядом в этот момент. Не спугнуть. Не обнаружить себя.

Они следили за тем типом три дня. На четвёртый тот встретился с каким-то офицером, они обменялись свёртками, и Денис с Ромодановским взяли обоих с поличным. Допрос вели тоже по науке – не били, по крайней мере, сначала, а запутывали, подсовывали ложные улики, сталкивали между собой. К исходу второй недели офицер признался в шпионаже в пользу шведов.

– Видишь? – Ромодановский был доволен. – Кнут – это для быдла. С умным человеком надо играть. Дать ему поверить, что его уже предали, что всё известно, что единственный шанс спастись – сознаться. Или пообещать то, чего он хочет – свободу, деньги, прощение. А потом, когда он всё выложит, – Ромодановский усмехнулся, – можно и повесить. Даже лучше. Но обещание есть обещание! Можно же его повесить быстро и без лишних мучений.

Дениса учили также искусству перевоплощения. Для этого его водили по петербургским рынкам, кабакам, притонам, заставляя менять обличья. Он был то матросом, то мелким торговцем, то подмастерьем, то пьяным гулякой. Учился менять походку, говор, манеру держаться. Особенно трудно давалось ему изображать простолюдина – сказывалась офицерская выправка. Но через полгода он уже мог настолько сливаться с толпой, что даже Ромодановский, встретив его в

портовом кабаке, не сразу узнал.

Кроме того, его обучали искусству составления психологического портрета. Он должен был, наблюдая за человеком, определить его слабые места: жадность, тщеславие, страх, любовь к женщинам или к вину. Это знание потом использовалось при вербовке или при допросе.

– Ты идёшь к человеку, который может стать твоим агентом, – учил его опытный вербовщик и знатный вельможа Пётр Андреевич Толстой, тот самый, что недавно вернул из-за границы царевича Алексея. И тот, кто вскоре возглавит Тайную канцелярию. – Ты не должен сразу говорить о деле. Ты должен войти в доверие. Найти общие темы. Помочь ему с какой-нибудь мелочью. Дать понять, что ты на его стороне. И только потом, когда он уже будет считать тебя другом, – осторожно предложить: а не хочешь ли ты заработать? Или отомстить обидчику? Или спасти свою шкуру? Люди делают удивительные вещи, когда им кажется, что это в их интересах.

Денис благоговейно слушал, запоминал, пробовал сам на учебных целях – на мелких преступниках, которых специально для этого подбирали в тюрьмах. У него не всегда получалось, но постепенно он почти наловчился.

В перерывах между этими практическими занятиями он не забывал и о морском деле. Раз в неделю его отправляли в Адмиралтейство, где он под руководством опытных штурманов и кораблестроителей изучал новые типы судов, особенности навигации в северных водах, способы определения местоположения по звёздам и компасу. Ему втолковывали, что в Архангельске он должен будет не только шпионить, но и выполнять свои прямые обязанности – служить на флейте, ходить в море, ставить бакены. Это было прикрытием, а прикрытие должно быть безупречным.

– Ты – моряк, – говорил ему старый капитан-командор Сиверс, балтийский немец на русской службе. – Ты должен выглядеть моряком, думать как моряк, жить как моряк. Любое отклонение, любая странность в поведении – и тебя вычислят. Так что учись, мичман, учись. Море ошибок не прощает.

Глава 11

Денис часто вспоминал те месяцы обучения в Петербурге, в редкие моменты отдыха он поражался однообразию погоды. Она казалась ему слякотной и тоскливой. Липкая серая мгла, поднявшаяся с болот и каналов, висела над городом, не давая просохнуть ни бревенчатым мосткам, ни человеческим душам. Да, Денис провёл её в стенах, которые уже успели стать ему отвратительно знакомыми, – в одном из казематов Тайной канцелярии, размещавшейся тогда в глухих каморах Петропавловской крепости. Пока он был подследственным и «прикомандированным к розыску» – полуарестантом, учеником и помощником, чью судьбу решит исход всего дела, порученного ему.

Спустя четыре месяца его новым временным начальником стал гвардии капитан-поручик Григорий Селунский – человек лет тридцати пяти, с лицом, на котором привычка к бесстрастности боролась с признаками хронического недосыпа и нервного перенапряжения. Он принадлежал к особой касте – офицеров «майорских» следственных канцелярий, новой, созданной самим государем структуры. В его кабинете, расположенном в одноэтажном каменном здании близ Адмиралтейства, пахло сухим пергаментом, дешёвой свеч-

ной сажей и крепким табаком. На столе, заваленном свитками и рапортами, лежала чернильница в виде медвежонка и тяжёлая печать с двуглавым орлом – инструменты новой, бумажной войны, которую Пётр объявил казнокрадам и изменникам.

– Садись, Калмыков, – сказал Селунский в первый день, не глядя на него, изучая какую-то ведомость. – . Государь соизволил приказать, дабы ты не гнил в яме, а приносил пользу. Ты теперь при мне. Будешь переписывать показания, сводить суммы, искать нестыковки в счетных книгах. Твоя голова, говорят, к цифрам способна. Докажи.

– Капитан, я… – начал было Денис.

– Я ничего не спрашивал, – холодно прервал его Селунский, подняв, наконец, глаза. В них не было ни злобы, ни любопытства – лишь усталая сосредоточенность часового на посту. – Здесь не флот, где нужно «есть!» кричать. Здесь тишина. И точность. Одна описка, одна неверная цифра – и приговор могут вынести не тому, кому надо. И нам с тобой – за нерадение. Понял?

С этого начались их странные, вынужденные рабочие будни. Иногда единственный путь к свету лежит через самое густое подполье. Денис, сидя на табурете в углу, скрипел пером, переводя на чистовик каракули подьячих, заполнял бес-

конечные таблицы о движении товаров через порт за последние пять лет. Селунский молча работал, изредка бросая короткие, точные указания. Иногда его вызывали – и он уходил, возвращаясь ещё более замкнутым и бледным. Через неделю Денис, отважившись на вопрос о том, какое именно дело они ведут, получил в ответ не гнев, а короткую лекцию.

– Дело? Их у меня три, – сказал Селунский, откладывая перо и смотря в запотевшее окно. – Два по злоупотреблениям в Коммерц-коллегии и одно – по хищениям при поставках для строящегося флота. Мелкие сошки, но с длинными щупальцами. Видишь сей шкап? – Он кивнул на высокий дубовый ларец. – Там лежат материалы следствия князя Волконского.

Денис насторожился. Князь Михаил Волконский – первый из «майоров», кому Петр в 1713 году личным указом поручил создать следственную канцелярию. О нём ходили легенды.

– Он расследовал дела против обер-комиссара Соловьёва и комиссара Акишева, – продолжил Селунский, и в его голосе впервые прозвучали нотки чего-то, похожего на профессиональное уважение. – Работал по-армейски: жёстко, быстро. Допросил сотни людей, провёл десятки очных ставок. Вскрыл целую систему, когда казённый хлеб отпускали за

море самовольно, а на заставах смотрели сквозь пальцы на контрабанду. Он имел право пытать, если дойдет до того, и не опасаться никого, как честному человеку надлежит. Так в указе государя и было написано.

– И что же с ним? – спросил Денис, догадываясь, что история вряд ли закончилась триумфом.

– А что? – Селунский усмехнулся сухо. – Сначала его поставили всем в пример. Потом он сошёлся со светлейшим князем Меншиковым. И за солидную мзду согласился «потерять» бумаги, компрометирующие одну из фавориток Александра Даниловича. Попался. Его самого арестовали, судили за служебный подлог. Государь, говорят, был в ярости – он таких людей на руках носил… Волконского повесили. Первый следователь России! Вот и вся наука.

Эта история произвела на Дениса большее впечатление, чем любая пытка. Она показывала не просто коррупцию, а её пронизывающую, разъедающую суть. Система, созданная для борьбы со злом, сама становилась его частью. Человек, наделённый безграничным доверием царя и почти полной властью, сломался под тяжестью этой власти и соблазном золота.

– Так зачем же тогда всё это? – не удержался Денис.

– Затем, – резко обернулся Селунский, – что иначе ни-

как. Сенат, коллегии, губернаторы – все они в паутине родства, свойственности и взаимных услуг. Послать сенатора судить губернатора – всё равно, что лису курятник стеречь. А мы… – он ткнул пальцем в грудь, где под кафтаном должен был быть гвардейский мундир, – мы – солдаты. Нас государь лично назначает. Мы подчиняемся только ему. Имеем право входить с докладом в любое время. Ни Сенат, никто другой не может нам приказывать, только содействовать – «под опасением жесткого ответу». Мы вне этой паутины… Или должны быть вне.

Денис молчал, осознавая услышанное. Он начинал понимать логику Петра: создать параллельную, лично ему подчинённую структуру из людей, чья карьера и жизнь зависели только от него. Людей, которые могли бы, не оглядываясь на чины и родословные, докапываться до сути. Но история Волконского была страшным предупреждением: даже лучшие из таких люди не были застрахованы.

Постепенно, из обрывочных фраз Селунского, из просматриваемых бумаг, Денис узнавал и о других фигурах этого нового мира. О гвардии капитане Егоре Пашкове, бывшем денщике Петра, а теперь – одним из ключевых следователей в канцелярии майора Дмитриева-Мамонова. Он участвовал в громком деле сибирского губернатора князя Матвея Гагарина, обвинённого в колоссальных хищениях. Денис видел

копии финансовых ведомостей, где астрономические суммы казённых денег растворялись в карманах поставщиков и чиновников. Пашков и его коллеги собирали доказательства, работая рука об руку с фискалами – тайными доносчиками, чья сеть была организована ещё в 1711 году. Сам Петр приравнивал мздоимство к государственной измене, и Денис верил в эту искреннюю ярость царя-работника, ненавидевшего воровство.

Однажды, разбирая старые архивы, Денис наткнулся на дело поскромнее – о злоупотреблениях некоего комиссара Власова и дьяка Скурихина, обвиняемых в хищении 140 тысяч рублей. Дело много лет кочевало из одной канцелярии в другую – от Долгорукова к Кошелеву, потом к Матюшкину. Изучая его, Денис с удивлением обнаружил знакомые фамилии архангельских купцов и нестыковки в отчётах, которые удивительным образом перекликались с его собственными старыми подозрениями о «серых» схемах в порту. Он осторожно показал свою находку Селунскому.

Тот долго молча смотрел на подшивку, потом тяжело вздохнул.

– Видишь? Паутина. Одно дело тянется за другое. Власов был связан с людьми Соловьёва, которого когда-то гонял Волконский. А те, в свою очередь, имели дела с сибирскими поставщиками, которые обкрадывали казну вместе с Га-

гариным. И на всех этажах – свои покровители в Сенате, в коллегиях, при дворе. Мы тут бьёмся, как рыба об лёд, вытаскивая одного воришку, а за ним стоит десяток таких же, а за теми – вельможа, которого тронуть нельзя.

– Почему нельзя? – спросил Денис.

– Потому что у вельможи тоже есть покровитель. А у того покровителя – сам государь, который ему верит. – Селунский замолчал, а потом добавил тише, будто говоря сам с собой: – Пашков, говорят, получил за дело Гагарина целое село с деревнями. Хороший куш. Но это и мишень на спине. Чем крупнее рыба, которую ты поймал, тем больше акул за ней начинают кружить. Они никогда не простят.

В этих словах была горькая правда всей системы. Независимость «майорских» канцелярий была призрачной. Они зависели от воли одного человека – Петра. А его воля могла быть изменчива, отягощена политикой, личными симпатиями. Следователь, идущий против могущественного фаворита, рисковал не просто карьерой, а жизнью, как Волконский. И даже успех, как у Пашкова, сулил не только награды, но и зависть, и вечную угрозу расплаты, когда покровитель уйдёт.

Работая бок о бок с Селунским, Денис стал замечать и другое. На их канцелярию, как и на другие, оказывалось давление. Приходили письма от важных персон с «рекоменда-

циями» по ходу следствия. Иногда исчезали отдельные документы из дел. Селунский молча принимал эти удары, аккуратно фиксируя их в своих записях «на случай, если государь спросит». Он учил Дениса главному: «Будь точен, как часы. Пусть каждый твой шаг, каждая цифра будут задокументированы. Это единственная твоя защита. Твоя правда – в бумагах. Без них ты – никто, и тебя сотрут в порошок».

Именно эта «бумажная правда» в конечном итоге спасла и самого Дениса. Когда через несколько месяцев капитан Артамонов, курировавший его «дело» со стороны Преображенского приказа, затребовал все материалы для очередного доклада, Селунский представил не только выводы, но и безупречно составленные тома документов, сводки, финансовые выкладки, сделанные, в том числе, рукой Дениса. Эта кипа бумаг, где всё было разложено по полочкам, оказалась весомее любых доносов. Она показывала не вину, а работу. Цепочку событий. И Петр, которому, вероятно, доложили суть, увидел в этом не оправдание, а подтверждение своей мысли: во всём нужны системные, а не сиюминутные меры.

В тот день, когда Денису объявили об окончании его «прикомандирования» и о задании —вернуться в Архангельск для дальнейшего расследования английского следа, – он пришёл в кабинет Селунского попрощаться.

– Спасибо, капитан. За науку.

Селунский, не поднимая глаз от бумаг, кивнул.

– Помни, Калмыков, что я тебе говорил. Государь строит новую машину правосудия. «Майорские» канцелярии, фискалы, а теперь, говорят, задумал и прокуратуру – чтобы всё это сверху обозревать. Машину. Но машину приводят в движение люди. А люди бывают разные: как Пашков, как Волконский вначале… и как Волконский в конце. Иди. И смотри в оба. Не только за врагами. За собой тоже.

Денис вышел на сырую, туманную улицу. Он уносил с собой не только свободу, но и тяжёлое, взрослое знание. Он увидел изнанку великих петровских преобразований – не парадные фасады коллегий и ассамблей, а грязные, кровавые кулисы борьбы за эти преобразования. Он понял, что «аглицкий» след – лишь один из многих узлов в гигантской паутине сопротивления новому порядку. И что его личная война теперь была частью этой большой, безжалостной войны государства с самим собой, где следователи могли становиться преступниками, а вчерашние палачи коррупции – её новыми столпами. Но идти назад было нельзя. Только вперёд, держа в голове холодный, точный почерк отчётов и помня о петле, качающейся на ветру где-то у стен крепости, – судьбе первого следователя.

***

Время тянулось невероятно долго. На пятом месяце обучения Ромодановский вызвал Калмыкова к себе и сообщил, что из Архангельска получены новые сведения: Фламанд действительно собирается туда, но не раньше чем через месяц. За это время Денис должен был не только завершить обучение, но и разработать план действий, заранее изучить досье на всех возможных участников заговора, включая купцов и нескольких дворян, замеченных в связях с англичанами.

– В Архангельске ты будешь не один, – сказал Ромодановский, разворачивая на столе карту. – С тобой будет наш человек, Клим Назаров. Будет твоими глазами и ушами среди простого люда. Ты же будешь стараться под разными предлогами поработать наверху, среди купцов и чиновников. Искать связи. Задача – выявить всех, кто связан с Фламандом, и главное – выяснить, что затевает этот алхимик. Государь подозревает, что это не только шпионаж, а нечто большее. Возможно, покушение. Возможно, диверсия. Возможно, что-то ещё, чего мы не знаем. Ты должен узнать. И предотвратить.

Денис молча кивнул. Он чувствовал, как ответственность давит на плечи тяжёлым грузом.

– В случае успеха, – продолжал Ромодановский, – государь обещал тебе чин капитан-лейтенанта. Это немало для

человека твоего происхождения. Но запомни: провал будет означать не только твою смерть. Он будет означать, что враги наши добьются своего. А что тогда будет с Россией – один Бог ведает. Так что не подведи.

Последний месяц подготовки был самым интенсивным. Денис изучал все доступные данные по Архангельску: улицы, причалы, дома, кабаки, где обычно собираются нужные люди.

– Там, в Архангельске, у меня своих людей нет, – говорил Клим Назаров, почесывая затылок. – Но найду подходящих друзей, я общительный малый! Грузчики, рыбаки, бабы рыночные. Они много чего видят и слышат. Если надо будет, через них любую информацию добудем. А ты, Денис Спиридоныч, барин для них. К тебе у них доверия не будет, а ко мне – запросто.

Денис учил Клима азам конспирации: как запоминать лица, как передавать записки, как заметать следы. Назаров учился старательно, хотя и ворчал, что «это всё не по-нашему, по-простому надёжней».

Настал день отъезда. Утро выдалось серым, ветреным. На Неве взламывался лёд, и по реке плыли грязные, рыхлые льдины. Денис стоял, одетый в новый, но неброский мичман-

ский мундир, с небольшим сундучком в руках. Рядом переминался с ноги на ногу Клим, одетый по-походному – в тулуп, валенки, с мешком за плечами.

Ромодановский проводил их до самой заставы. На прощание он крепко пожал Денису руку и сказал:

– Помни, мичман, чему тебя учили. Ты теперь не только моряк. Ты – оружие государево. Острое, тонкое. Имей терпение, будь осторожен, но когда надо – действуй решительно. И ещё – никогда не верь никому до конца. Даже своим. В нашем деле доверие – роскошь непозволительная.

Денис кивнул. Сани тронулись. Под полозьями заскрипел снег, смешанный с песком. Петербург, с его шпилями и дымными трубами, медленно уплывал назад. Впереди была долгая дорога на север, в город, где его ждала смертельная игра.

Чем дальше уходили сани, тем сильнее в душе Дениса росло сомнение. Он был обучен, вооружён знаниями, у него был план. Но хватит ли этого? Сможет ли он, бывший степняк, бывший пленный, бывший никому не нужный мичман, противостоять изощрённому уму Фламанда, могуществу неизвестных вельмож, коварству английской разведки? Сможет ли он защитить тех, кто остался здесь, в Петербурге, и кто станет заложниками его успеха или неудачи? Сани мерно по-

качивались, унося его навстречу неизвестности.

Глава 12

Дорога назад в Архангельск заняла еще больше времени, чем путь в Петербург. Зима вступила в свои права окончательно, превратив просёлки в непроходимые снежные пустыни, а реки – в гулкие ледяные дороги. Денис ехал на обычной ямской повозке, закутанный в выданный ему казенный овчинный тулуп, и старался ничем не выделяться среди прочих пассажиров – мелких торговцев, отставных солдат, монахов. Тяжёлый свинцовый медальон с двуглавым орлом и тайной печатью, вручённый ему на прощание безликим служителем из Тайной канцелярии, жёг ему грудь под одеждой – знак доверия и смертельный ярлык одновременно. Он посмотрел на Клима, дремавшего рядом, укутавшись в тулуп. Этот простой парень, ставший его союзником, верил в него. Верил, как ни странно, сам государь. Сомнение по-прежнему грызло его изнутри, но он знал, что назад дороги нет. Он сделает то, что должен. Или погибнет. Иного не дано.

Когда, наконец, из-за леса показались знакомые, почерневшие от времени и влаги деревянные башни Архангельска, а в нос ударил знакомый, неистребимый запах соленой рыбы, дыма и смолы, Денис почувствовал не облегчение, а сдавленную, глухую тревогу. Они наскоро попрощались с

Климом, он вышел раньше. А Денис вернулся, словно в другую жизнь. Тот же город, те же крики извозчиков у Гостиного двора, тот же скрип флюгеров на шатровых колокольнях и вечный ветер с Двинской губы, несущий колючую снежную крупу. Но он сам был уже иным. Не мичманом, мечтающим о карьере, а тайным агентом, заложником чужой воли, человеком с клеймом, пусть и невидимым.

Он снял ту же самую покосившуюся избу на самом краю поморской слободки. Её хозяйка, вдова лоцмана встретила его молчаливым, испуганным поклоном – слухи, видимо, уже достигли города и обросли чудовищными подробностями. Когда он переступил порог своего старого жилища, холод и запустение ударили ему в лицо. Печь была холодной, на столе лежал толстый слой пыли, смешанной с пеплом, в углу висела паутина. Это место, когда-то бывшее убежищем, теперь казалось ему сырой, темной клеткой, преддверием тюрьмы, из которой он только что выбрался.

Дни потянулись мучительно долго, серой, однообразной чередой. Он вышел на службу. Капитан принял его без лишних слов, лишь кивнув и сухо бросив: «Работай». Никаких вопросов, никаких расспросов. Но в этой молчаливости было больше подозрения, чем в открытых допросах. Денис выполнял свои обязанности механически: проверял глубины, осматривал такелаж, составлял рапорты. Его мысли были да-

леко, в мрачных коридорах Тайной канцелярии и в аскетичном кабинете Летнего дворца. Он ловил на себе взгляды сослуживцев и портовых рабочих. Взгляды были разными: у одних – пустое, туповатое любопытство; у других – настороженное, брезгливое отвращение; у третьих – скрытый, но яростный страх. Он научился различать шёпот, долетавший из-за угла склада или из темноты кабака: «ведьмак», «отравитель», «царскую фаворитку извёл», «калмык окаянный». Он делал вид, что не слышит, сжимая до боли черенок измерительного шеста или комкая в кармане рапорт, но внутри всё сжималось в тугой, горький ком от несправедливости и бессильного гнева.

Физически он был надломлен. Казалось, ад застенка не отпускал его. Старые раны, вывихнутые суставы, растянутые связки – все это ныло и гудело, особенно по ночам и на перемену погоды, когда низкое небо давило тяжестью снежных туч. Но ещё хуже было в душе. Ночные кошмары стали его постоянными спутниками. Едва он закрывал глаза, как перед ним снова возникало бесстрастное лицо следователя, слышался скрип блока, ощущалась та самая, невыносимая, разрывающая боль в плечах. Он просыпался посреди ночи в холодном поту, с одышкой, прислушиваясь к стуку собственного сердца и ко всем звукам старого дома: скрипу половиц, завыванию ветра в печной трубе, шуршанию мышей под половицами. Иногда ему слышались отголоски напутствий Ро-

модановского и Толстого. Сон бежал от него. Денис ворочался, лежал в темноте, уставившись в потолок. Его разъедали сомнения. Зачем царь спас его? Чтобы бросить здесь, на краю земли, с невыполнимой задачей? Чтобы он, изгой, сломленный и больной, сам, как падаль, исчез в этом враждебном городе? Он терял веру не только в свой успех, но и в сам смысл своего существования. Чувство собственной ничтожности и обреченности опутывало его плотнее, чем ледяной туман над Двиной по пути на работу.

Да, дальше всё так и было, как он рассказывал годы спустя Ломоносову. Калмыкова свалила горячка. Он мысленно уже прощался с жизнью…

Но его дверь, пропустив в избу облако колючего морозного воздуха и скупой белый свет зимнего утра, отворилась. В проеме, отряхивая с валенок снег, стояла девушка. Евдокия Красина, Дуняша стала его ангелом-хранителем. Она теперь часто сидела у печи, на низкой скамье. Ее рыжие волосы, выбившиеся из-под платка, отсвечивали в огненном отблеске пламени, а лицо, озаренное этим теплым светом, было спокойно и безмятежно. Между ними царило тихое, доверительное молчание, которое было для Дениса важнее любых слов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.